



С. Н. БУЛГАКОВ

Автобиографическое

МОЯ РОДИНА

Посвящается жене моей

Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется она чрез лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан чрез родину и с матерью-землей, и со всем Божиим творением. Человек существует в человечестве и природе. И образ его существования дается в его рождении и родине. Каждый человек имеет свою индивидуальность и в ней неповторим, но равноценен каждой другой, это есть дар Божий. И она включает в себя не только лично-качественное я, идущее от Бога, но и земную, тварную индивидуальность, — родину и предков. И этот комплекс для каждого человека также равноценен, ибо он связан с его индивидуальностью. И как нельзя восхотеть изменить свою индивидуальность, так и своих предков и свою родину. Нужно особое проникновение, и, может быть, наиболее трудное и глубокое, чтобы *познать самого себя* в своей природной индивидуальности, уметь полюбить *свое*, род и родину, постигнуть в ней самого себя, узнать в ней свой образ Божий. Часто завидуют родившимся среди потрясающих красот природы, хотя в очах Божиих, в Софии Божественной, все красоты одинаково потрясающи. Есть предустановленное для каждого откровение Софии в его рождении и в его родине. Чем я становлюсь старше, чем более расширяется и углубляется мой жизненный

опыт, тем яснее становится для меня значение родины. Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существовании, так что вся дальнейшая моя, такая ломаная и сложная, жизнь есть только ряд побегов на этом корне. Все, все мое — *оттуда*. И, умирая, возвращаюсь — *туда же*, одни и те же врата — рождения и смерти.

Моя родина, носящая священное для меня имя *Ливны*, небольшой город Орловской губернии, — кажется, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его, — в нагорье реки Сосны — не блещет никакими красотоми, скорее даже закрыта некрасотами, серостью, одета не только в скромной, но и бедной и даже грязноватой одежде. Однако она не лишена того, чего не лишена почти всякая земля в нашей средней России: красоты лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов, реки и деревьев. Но все это так тихо, просто, скромно, незаметно и — в неподвижности своей — прекрасно. То, что я любил и чтил больше всего в жизни своей — некричащую, благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, все это мне было дано в восприятии родины. И ей свойственна также такая *тихость и ласковость*, как матери. Она задушевна как русская песня, и, как она, исполнена поэзии музыки. Только ее надо слышать самому, внутренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не гремит и не кричит, но тихим шепотом нашептывает свои небесные сны. Она *робко напоминает* лишь о потерянном рае, о той надмирной обители, откуда мы пришли сюда. И теперь, когда я пишу эти строки и собираю свои чувства и свою любовь к ней, в душе моей звенит этот голос вечности. И поистине родину можно — и должно — любить *вечною* любовью. Это не только страна, где мы «впервые вкусили сладость бытия», это — гораздо большее и высшее: это страна, где нам открылось небо, где нам виделось видение лестницы Иаковлей¹, соединяющей небо и землю. Но для этого надо изжить свою родину, воспринять и услышать ее. Не всем это дано, иные, гонимые ветром жизни, оставляют или меняют родину, прежде чем она войдет в их душу. Я был ее избранником, я жил с ней все отрочество и юность, у меня ничего, кроме нее, не было в то время, и вся моя жизнь была с ней и в ней, и только позже вошли иные, более оглушающие, впечатления или присоединились к ней иные, новые пласты (Орловская губерния соединилась с Крымом²), но все это было позднее. Определился же я в своем естестве через Ливны. Я — ливенец.

Попытаюсь как-нибудь рассказать о родине, хотя это так же трудно, как и рассказать о матери...

Ливны — небольшой (12 т<ысяч>) город Орловской губернии, расположенный на высоком берегу р. Сосны *, со впадающей в нее маленькой речкой Ливенкой **. Город древний, исторический. Еще во времена татарских нашествий здесь была крепость, от которой остались следы монастыря в виде Сергиевской церкви³. В могилах при постройке соседнего храма св. Георгия⁴ были находимы обширные кладбища, очевидно военные, хотя и более поздние, близ бывшего монастыря обретались св. останки в могилах, чтимые как мощи. Земля была исполнена и освящена человеческими останками, как некое кладбище с позабытым и оставленным алтарем. Я разумею ту нагорную часть, высившуюся над рекой, где тихо сияла Сергиевская церковь, близ которой я был рожден. Город был довольно обширен, большею частью из бедных деревянных домов, хотя в центре были и каменные. Был пылен и грязен. Мало растительности, хотя и был городской сад и чудный кладбищенский, теперь обращенный в парк. Кое-где были небольшие садики при домах: был и у нас, такой дорогой, тихий, нежный, хотя и бедный, маленький. Наш дом, в котором я родился, был недалеко от нагорной части над рекой в пяти минутах от Сергиевской церкви. Он был деревянный, в пять комнат, расширявшийся пристройками. Он принадлежал семейству моей матери. Сколько здесь было рождений и смертей, — тоже алтарь предков. Он был одноэтажный, старый, выходящий на угол своими многими небольшими окнами. Такой интимный, душевный. Но я не помню, чтобы в нем праздновались браки, но помню много, много похорон. Он был живой, этот дом, как будто часть нашего семейного тела и изливания души предков. Когда приходилось приезжать домой издалека, он тихо обнимал странника и нашептывал ему песни детства... Святая колыбель. Внутри его все было бедно и просто (хотя и выше среднего убогого уровня ливенской жизни), скромная деревянная мебель, но даже «диван» и два «кресла» в гостиной. Везде иконы и горящие перед ними лампы, словно церковь. Вокруг — колокольни с разными звонами, ближними и дальними. Это была сладкая и благородная музыка, которою освящался воздух и неприметно питалась душа. Этот скромный дом был сращен с душой, ее не покоряя. Но он был все-таки больше и выше, чем дано было большинству в нашем городе, и это преимущество неизменно отражалось в моей совести, как некая незаслуженная привилегия, и ее

* Слободка за рекой называется Засосна.

** С слободкой Заливенкой.

будило и брестило этой своей незаслуженностью, тревожило социальную совесть, давало ей заповедь на всю жизнь.

Мы были горожане в самом дурном смысле слова. От города мы не имели ничего положительного, но были лишены и не знали никогда прелестей деревенской жизни, никогда не переживали сельскохозяйственного года, пашни, косьбы, уборки урожая, ничего, ничего. Поистине с варварским равнодушием и вместе безразличием бедности мы никогда не жилали в деревне (на «даче»), и — самое большее — мне случалось провести в деревне два-три дня, причем я изнывал от бессонницы, от жары, от непривычных условий жизни, от блох. Даже и за город, в лес, мы собирались два-три раза в лето, — эти сборы были событием, и хотя лесок — дивный сказочный Липовчик со степными цветами, которыми мы все упивались, был в трех верстах от города, мы ездили (и непременно ездили, и лишь в поздние годы ходили пешком). Обычно мы ходили гулять на «линию» (по ветке железной дороги) или в городской сад (на «музыку») или «над Сосну»... Таково было наше варварство. Я замечал, что мужики так равнодушны к природе, хотя сами составляют ее часть; они относятся к ней или как корыстные хозяева, или как... звери (в хорошем и плохом смысле слова). Край наш прекрасен своей широтой и своими полями, но беден и однообразен природными красотами. Он безгорен и безлесен, — наш крохотный Липовчик только оазис здесь, и можно ехать десятки верст на лошадях и в поездах, и «все поля, поля и поля». Вероятно, были красоты в «имениях» «помещиков», полумифических аристократов, приезжавших на тройках, но эти уголья представлялись сказкою нам, бедным попovichам. Красой природы для нас были тихие, иногда глубокие речки, с возможностью рыбной ловли. На нашей реке Сосне летом мы жили, то в купальне, то на рыбной ловле, это было самое интенсивное общение с природой нашего детства. На рыбную ловлю ходили и дальше, хотя все это было неумело, убого, лишено настоящего оборудования и снаровки. Но это давало нам живое дыхание природы. И такое же дыхание давала зима, которую мы переживали с ее дивными закатами, с ее коньками, снежками и санями. И весна с ее бегущими ручьями, с ее ледоходом, хрустящим и шумящим, с обнажающимися от снега сухими пятнами земли, с первыми травками... Каждый дюйм весны, каждый миг пробуждения природы был нами измерен и возлюблен. И сейчас тихие слезы любви и благодарности туманят мои глаза, — как это было бедно и прекрасно, как *живо*. Мы в природе, и в нас природа. И может ли быть, даже и при нашем варвар-

ском и пауперском неумении брать ее, может ли быть ее мало? Она являлась царственно, тихо и прекрасно и приносила поэзию душе, будила в ней ее грезы. Как царица София, она являлась мне, вдохновляя и не объясняя, лаская и не устрашая, сокровенная в своей Красоте и прекрасная Ею. И детская душа навсегда услышала, узнала, возлюбила и отдалась этому видению. И все эти детские радостные грезы были осенены небесной музыкой церковного звона. Наши Ливны были для меня Китежем⁵. О нашей Сосне, быстро обмелевавшей и затягиваемой песками (по всеобщему равнодушию и варварству, соединенному с бедностью), были китежские легенды, которые пели моей душе, и она пела о них. Одна была о Колоколе, который будто бы сорвался во время подвешивания и скатился с горы в реку, но иногда гудит под водой. Я воспевал это в детских, неумелых виршах:

Тьма ночная над водою,
Город весь заснул,
И несется над рекою
Колокола гул...
Заунывный... как тоскою
Полон этот звон...

Но родина моей родины, ее святыня, была Сергиевская церковь, «Сергие», как сокращенно она называлась в обычной речи. Для нас она была чем-то столь же данным и само собою разумеющимся, как и вся эта природа. Она была прекрасна, как и эта природа, тихую и смиренную красотой. Она, очевидно, представляла собою остаток древнего стиля: голубая с белыми колоннами, главная древняя ее часть была трогательна своей интимностью и прелестью, она и была — Сергиевская, и к ней была пристроена главная часть, с престолом Успения, — храмовой праздник 15 августа. Я никогда не задумывался о том, почему здесь соединены Сергиево и Успение⁶, — явное созвучие Троице-Сергию в лавре⁷. Я не знал и не понимал, что это был столь же Софийный храм, как и Успенский собор в лавре⁸; я не знал тогда, что я получил имя, был крещен и духовно рожден в *Софийном* храме, причтен к лику служителя Софии Премудрости Божией преп. Сергия. Я не знал, что все мои вдохновения, которым в будущем суждено было развиваться в целую богословскую систему, в корне своем были всеяны в душу Промыслом Божиим в этом умильном храме. Только теперь, в старости, я постигаю этот дар Божий. Как мы любили этот храм, — как мать, как родину, как Бога, — *одной* любовью, и как мы вдохновлялись им. Он был для нас и святили-

щем, и источником восторгов красоты, — больше у нас ничего не было, но этого было довольно. Мы были привязаны к своему храму исключительно и ревниво. — Другие храмы, как даже, напр<имер>, Кладбищенский, где служил мой отец, были как бы не храмы, полухрамы, лишь этот был настоящий. В нем душа дышала красотой. Он весь был голубой, софийный: особо стояла колокольня, особо храм, род удлинённой базилики, но какой домашний, уютный, тёплый, с теплом намолённых икон (чтимой иконы Тихвинской Божией Матери⁹). Хора, конечно, не было, да правду сказать, в нем и не нуждались, храм сам пел. Был гнусавый дьячок, наивно любивший свой клирос¹⁰ и право правивший свое клиросное послушание, — бедный, с красным носом, вероятно, от выпивания. Но краса нашего «хора» был бас «Степаныч», пьяница, неизвестно как существовавший. Как сейчас вспоминаю, был он, вероятно, подлинно музыкален, артист в душе, и голос имел прекрасный, благородный, хотя и пропитый, дребезжащий. Как мы трепетали, придет или не придет от своего запоя Степаныч петь в Вел<икий> Четверток («Вечери Твоя Тайныя»), заутреню в Вел<икую> Субботу («Волною морскою») или в Св. Пасху¹¹ петь пасхальную заутреню. А другая краса нашего храма, другой столп нашей эстетики был дьякон: прекрасный тенор, бархатный, музыкальный, задушевный. Тоже пил, и тоже мы трепетали, будет ли в голосе и будет ли петь в Страстную субботу¹² и пасхальную заутреню. И когда оба пели, душа уходила в небеса, горела и трепетала в божественном сиянии. Премудрость Божия смотрела в душу во Славе Своей. Священник о. Иван, старенький, заикающийся, сама простота, сам ничего не вносил от себя в эту эстетику, но и не противоречил ей. Он был принят в это целое, потому что был принят этим храмом. И храм стоял над рекой, на высоте, и окружен был, пусть простым и убогим, цветником. Он тоже жил и дышал одной жизнью с природой. Во время Великого поста, с его печальными, строгими звонами, дивно соединялась музыка бегущих весенних ручьев, шорохи и шумы ледохода, ширь весеннего разлива, а позже и пасхальная радость нежной трепетной весны. А в день Успения его икона была неизменно украшена осенними астрами, бархатками и резедой, и их благоухание с тех пор трогает сердце радостью Успения. Это не внешняя только ассоциация, но благоухание от гроба Пречистой. И уже свежее лунные вечера над рекой с площадки около храма... Да, здесь я принял в сердце откровение Софии, здесь в мою душу была вложена та жемчужина, которую искал я в течение всей своей слепой и смутной жизни,

искал умом и сердцем, больше умом, чем сердцем, и когда обрел, то узнал ее, как сокровище, *данное* мне как дар Божий в духовном моем рождении.

Но наша церковная эстетика включала и «кладбище», т. е. кладбищенскую церковь моего отца, которая находилась на другом конце города. Это считалось «далеко», и туда ездили «на лошади»: зимой на санях, летом на «тарантасе», причем и эта лошадь, и кучер «Федорок» также вошли в память о святыне. Мы неохотно изменяли «Сергию» для «кладбища» и лишь иногда, в определенные времена, как бы из любезности отцу, отправлялись с ним на его служение. Здесь было меньше эстетики: пение (тоже дьячка, трогательного в своей простоте и благочестивой наивности) нас не пленяло. Церковь была мужицкая, серая. Но здесь было другое: отец, совершающий таинство Евхаристии и потрясающий тем нашу душу, его детская восторженность в пасхальную ночь, когда посредине храма водружалась жаровня фимиама и он наполнялся благоуханием (по типикону¹³), и из светлого храма выходили в темную ночь сада с могилами, поющими своими молчаливыми, но слышными голосами: Христос воскрес. С «кладбищем» соединяется у меня еще и небесная музыка сфер: когда ночью, во втором часу, ехали на санях в праздник Рождества Христова или Крещения, то небесный свод сиял своею славою. Звезды горели и посылали в душу свои ангельские звуки среди мороза, как Господь родился на морозе в зимнюю ночь в пещере. И все — одно об одном: о Славе Божией. Душа воспринимала многое и сохранила немного, но *это* сохранила, потому что только это есть сокровище души, ее жемчужина, — остальное кожа или оболочка...

Вместе с церковью я воспринял в душу и народ русский, не вне, как какой-то объект почитания или вразумления, но изнутри, как свое собственное существо, *одно* со мною. Нет более народной и, так сказать, народящей, онародивающей стихии, нежели церковь, именно потому, что здесь — *нет* — «народа», а есть только церковь, единая для всех и всех единящая. Однако никогда я не был слеп и глух к страданию народному, к неравенству и обиженности. Себя мы чувствовали все-таки привилегированными, как бы ни было в действительности скромно наше существование, и это сознание вносило острое чувство стыда и социального покаяния, хотя и бессильного. По-детски это выражалось так: к Празднику Пасхи нам обыкновенно шилась какая-нибудь новая принадлежность туалета: уродливые сапоги, не менее уродливый костюм, вообще обновки, которые, конечно, весело и не без горделивости самолюбования чувство-

вались ее обладателем. И, однако, к этому всегда примешивался щемящий звук, как ноющий зуб: а такой-то (Ванька, Кузятка и под.) будет в своем единственном, старом, замусоленном, уродливом дипломате¹⁴ или свитке, потому что ему нечего больше надеть. И красуясь в церкви в своей обнове, я робко искал глазами и находил его — в его уродстве. Правда, сам-то он едва ли так остро чувствовал свое убожество, а сам я отлично приспособлялся к некоторому духовному неудобству и благополучно забывал об укорах совести. Но они всегда были, эти укоры. И психология «кающегося интеллигента», которую он не умеет отличить от христианского покаяния, вместе с его «народничеством» зародилась именно здесь. Я всегда был народником, потому что был народен от рождения. Больше ничего у нас не было в детстве из области «культуры»: ни музыки, ни другого искусства, которого так жаждала душа. Но она была полна, потому что все дано было в церкви, истина чрез красоту и красота в истине. Здесь, в Софийном храме Успения, я родился и определился как читатель Софии, Премудрости Божией, как читатель преп. Сергия в его простоте и смирении, соединенной с горением и дерзновением, в его народолюбии и социальном покаянии. И здесь я определился как русский, сын своего народа и матери — русской земли, которую научился чувствовать и любить на этой горке преп. Сергия и на этом тихом смиренномудром кладбище. И по велению Божию конец своего жизненного пути совершаю под кровом Успения-Сергия, хотя и в стране далекой, в земле чужой, без аромата бархаток и резеды в августовский вечер...¹⁵ Мое великое богатство, особое благословение Божие, было не только в том, что я родился и вырос под кровом двух храмов и на лоне нежной, смиренно-целомудренной природы, но и в семье православного священника, в атмосфере дома-храма, как будто продолжавшего собою храм. По своему происхождению от отца я — левит¹⁶ до 6-го колена (приблизительно до времени Иоанна Грозного, когда — возможно — захудалый боярский сын с явной примесью татарской крови, по обычаю того времени, вступал в духовное сословие). По матери, вероятно, происхожу от левитско-дворянского рода, со следами утонченности (и, может быть, некоторой дегенерации). Мой отец был смиренный и скромный священник, 47 лет прослуживший в своей кладбищенской (бесприходной) церкви с каждодневным служением, на панихидные гроши вскормивший и воспитавший всю нашу семью (семь человек детей, из которых остались в живых только два). Оба они, — и отец и мать, — были проникнуты церковной верой с простой и наивной цельностью, ко-

торая не допускала никакого вопроса и никакого сомнения, а вместе с тем никакой вольности и послаблений. Типикон был нашим домашним уставом в постах и праздниках, богослужениях и молитве. Вместе с этой природой, которая тоже как будто следовала церковному уставу, строй нашей жизни дышал этой атмосферой и не мнил быть иным. Поэтому для нас было самоочевидным, как бы законом природы, что постные дни, и особенно суровый режим Великого поста, не могут быть не соблюдаемы; что ранние, даже ночные вставания к службе, независимо от времени года и погоды, неотменны, и не может даже возникнуть вопроса о человеческой слабости, состоянии здоровья и проч. Да они и не возникали, не могли возникнуть эти вопросы в нас самих, в детях, так мы сами были проникнуты этим, так мы *любили* храм и красоту его службы. Не знаю, каким горем и лишением было переживаемо (как иногда случалось), или болезнь отлучала от храма. Но как правило, все времена церковного года, все праздничные и торжественные службы, особенно все посты и Пасхи, нами переживались, каждое в своем роде, как особое торжество. Как богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озлащены были наши души этими небесными лучами, в них непрестанно струившимися. Вот Рождественская и Крещенская службы: два часа ночи, мороз, звезды, холодная церковь, борьба с дремотой, а вокруг летают ангелы. Но что скажу о величии Великого поста: о преждеосвященной литургии¹⁷, о стоянии Марии Египетской¹⁸ и, наконец, о Страстной Седьмице¹⁹, где были у нас на учете все дни и часы? Исповедь в Вел<икую> Среду и литургия Вел<икого> Четверга (с «Вечери Твоя тайныя»), погребение Спасителя («Волною морскою»), литургия Вел<икой> Субботы и, наконец, Пасха, когда мы не знаю где были: на небе или на земле. Словно хоровод небесных светил зажжены были в душе эти звезды, и они не могли погаснуть даже в тьме безбожия, но всегда они звали к небу. И вся эта церковная, типиконская жизнь была обрамлена и связана с жизнью природы, которая в ней участвовала. Это был детский христианский «пантеизм», софийное чувство жизни и мира. Это был простертый над землею свод небесный, на веки вечные вошедший в душу: небо и земля. И когда от рассказов о монастыре (одного купца) горела душа, то видела она себя в детском воображении украшенной ангельским золотым поясом, горевшим и светящимся...

Но вся эта безмерная поэзия, радость озлащенной жизни соединялась с бытом прозаическим и суровым. Мои родители для своего круга были исключительно заботливы, тревожны, чад-

любивы. Нашим отношениям всегда присуща была природная нервность, свойственная — в разной мере — и всем членам нашей семьи, особенно матери (вместе с изнурительными бессонницами). Но это не могло уберечь от гнета бедности (или, по крайней мере, постоянного недостатка) и возникающих на этой почве семейных ссор, в связи с неудержимой склонностью матери дарить, а для этого занимать (она была исключительно добра и в силу этого расточительна — не по нашим средствам, — моя мама для себя же самой довольствовалась самым малым и как будто даже не существовала: не спала, не ела и только всегда беспокоилась и нервно курила). К этому надо прибавить тяжелые впечатления от «русской слабости», не чуждой и нашему дому. Алкоголизм скопил две молодые жизни (моих братьев, по-своему трогательных и благочестивых) в нашей семье, и только милостью Божией и сам я спасся от этой гибели. Эти же заболевания моего отца, очевидно, унаследованы были от предков (вместе с хронической нервной экземой), они сопровождались после прекращения большей его раздражительностью, это есть самое, может быть, тяжелое воспоминание детства, вместе с криком в доме от семейных раздоров, преимущественно почти исключительно возникавших на почве денежных затруднений. Но это проходило, и снова водворялся мир с жизнью словно в церкви или, по крайней мере, при церкви.

Наша семья состояла из родителей, братьев и дедушки. Все они, кроме двух братьев (меня и Лели), и умерли в нашем доме. Раньше всех дедушка от паралича, от которого он лежал разбитым более года. Это был чистый и благообразный старец, Косьма Сергеевич Азбукин, с ясным, любящим сердцем и каким-то прирожденным духовным достоинством. Он рано овдовел (его жена умерла после пожара, в котором будто бы считала себя виноватой от какой-то неосторожности, — из-за большой нервной и духовной утонченности). Оставшись один, он посвятил себя всецело воспитанию дочери «Саши» (Александры Косьминичны, нашей мамы). Был педагогом и хотя светским, но, конечно, до дна церковным. В своей жизни был безупречен и строг. Нас, внуков, любил безгранично, — меня меньше, чем старшего брата, из-за моей суровости (которая на самом деле была застенчивостью). Он был как патриарх. С его кончиной смерть впервые вошла в детское сознание (лет 12), я был, с одной стороны, мистически потрясен, а с другой — оборонялся животным себялюбием. Хорошо в Ливнах хоронили: это прямо какой-то Египет. И прежде всего никакого страха перед смертью. С каким-то скорее радостным, важным чувством приходят

родственники, а прежде всего женщины, обряжать покойника, молиться о нем, помогать на дому: особое вдохновение смерти входит в дом. А затем самые похороны в храме с несением по городу под погребальный перезвон колоколов, предание земле и почитание могилы, молитвенная память... Хорошо в Ливнах хоронят, и, если можно сказать про софийность и в похоронах, то скажу, софийно хоронят: печать вечности, торжество жизни, единение с природой: земля еси и в землю отыдеши...²⁰

Отец был провинциальный священник, который, хотя и родился в селе Гуторове (Кромского уезда Орловской губернии), однако совершенно не имел черт сельского жителя и как-то совершенно перевоплотился в горожанина со всей ограниченностью этого типа. Он хорошо учился в семинарии, но вообще был ограничен, без особых умственных запросов и без всякой трагичности в характере. У него был здоровый ум и жесткий сарказм, не лишенный остроумия. В характере его (как и у меня) было мало ласковости, по крайней мере способности ее обнаруживать. Дедушка говорил обо мне с порицанием: булгаковская суровость. Может быть, в последнем счете это — татарская кровь. Главное достоинство моего отца была его добросовестность и ответственная точность во всех делах его: таков он был в исполнении своего семейного долга, — воспитания детей с ответом себе и в бережении худой лишней копейки (что так несвойственно было маме), в своем служении в храме и школе (женской гимназии, где он законоучительствовал), в своих счетах и личных отношениях. Это был человек доброй совести, на ответственность которого можно было положиться. Он не лишен был и своеобразной поэзии, любил природу, хотя и пользовался ею редко, и в Липовчике что-то напевал полуженским своим тенорком. Вообще же мужественность не была свойственна его характеру, он был робок и весьма законопослушен. В нем была крепкая воля в исполнении долга, как он его понимал: не могу иначе, — но совсем не было способности настойчиво хотеть и осуществлять свое воление. Он был — *не-борец* по природным своим свойствам. Своей судьбой он и не был призван к борьбе. Я унаследовал от него и эту робость, и отсутствие хотящей воли, но меня судьба поставила в неизбежность борьбы. И я всегда чувствую это как тяжелую, на меня извне как бы наложенную необходимость, связанность, бремя. Мне труден мой удел.

Мама была окрыленная. Она всегда была несколько *obsesed*²¹ навязчивыми идеями, большею частью очередными пустяками: чтобы мною надета была крахмальная рубашка, которой я не выносил, чтобы кого-то «позвать» (в гости), написать

поздравление и пр. (и это я от нее унаследовал как внимательность к людям). Но обычно «эти ее пункты» все-таки выходили за пределы нужд обыденности, относились к тому, что можно было назвать поэзией жизни. Она любила и поэзию, хотя при слабом ее образовании круг ее знаний был ограничен, любила книгу и стихи. Вообще являла в себе тип какого-то неуравновешенного и несколько дегенеративного (фантастическая бессонница) аристократизма. Была не лишена и незлобивого тщеславия в детях, — в отношении к моим успехам, — и суетливой говорливости.

В своей нервной многозаботливости была и деспотична, в соединении с слабохарактерностью. При волнениях, которые были обычны, много курила. Поэтически любила храм и богослужение, но благодаря нервности будила нас раньше времени: Сережа, вставай! Миша, вставай!.. раздавались по дому ее крики, даже тогда, когда я терял уже веру и переживал эти бужения как насилие над собой и когда, принужденный уходить из дома, шатался по городскому саду.

Мои братья... Ко всем им (разумею старших) я относился свысока, а они признавали мое превосходство, великодушно не замечая моего свинства и эгоцентризма в своем трогательном смирении и великодушии. Старший брат Володя явился наиболее трагической жертвой наследственного алкоголизма. Он был прост сердцем, но неистов в страстях, алкоголь делал его безумным. Он погиб от чахотки, будучи уже священником в Москве (если удастся, расскажу особо). Младший мой брат Миша, робкий и кроткий ребенок, также погиб от чахотки (через две недели после Володи) в Ливнах. У меня и сейчас через 40 лет глаза застилают слеза, когда я вспоминаю его святую, прекрасную смерть. Как ангел он был послан отряхнуть сокровище своей смерти в мою душу, пред тем как уйти из мира. Это было ночью. Явно началась агония. Все встали, окружили его, и отец начал читать отходную (это для всех явилось так естественно). «Это — отходная?» — спросил Миша и затем начал прощаться со всеми, выразительно каждого целуя. И меня поцеловал так... Он особенно хотел, чтобы я был около него, когда я был полон собой, только собой... Он тихо отошел, и было светло таинство смерти. Руки его, как у чахоточных, были прекрасны своей белизной. Мы вышли в сад с братом Лелей, рассветало, и на сердце была такая небесная музыка, такое торжество, которое дает только смерть ласковая, тихая, верующая, смерть, открывающая небо и ангелов. Да, смерть была наша воспитательница в этом доме, как много было в нем смерти... Впрочем, все это у же

было позже, в юношеском возрасте, но и в детстве смерть стояла к нам близко, никогда не отходя. Один за другим умерли два маленьких «Кузи» (в честь деда Косьмы Сергеевича). Мама не хотела уступить смерти, и после смерти одного Кузи наименовала тем же именем другого ребенка, но умер и этот. Помню ночь с детским мертвым телом в доме, и ее плач, ночные воющие звуки... Это вкралось в сердце каким-то зовом и страхом и грозной памятью о вечности, так же как и когда стояло тело дедушки, то приносились — неизвестно откуда — страшные плачущие и торжественные звуки, которые переворачивали душу. Это черничка Параша читала Псалтырь. Но самая тяжелая рана была смерть Коли, прелестного, умного, одаренного мальчика в пятилетнем возрасте, общего любимца, с печатью херувима, предшественника нашего Ивашечки. Он болел горлом и долго боролся с болезнью. Еще накануне смерти отец шутя сказал: «а бутуз бутузит». Явилась надежда. А утром он скончался. Отец неизменно поехал служить свою раннюю службу, он был человек долга. Приехав в церковь сам в слезах, и дьякон в слезах, но стали служить. Никогда не могу забыть этой кончины, даже Ивашечкина кончина ее не изгладила²² («Зовы и встречи» в «Свете Невечернем»). Так он был прекрасен в своей рубашечке, так истекала слезами его няня Татьяна, так мучительно болело и мое себялюбивое сердце, все горевали. И каждое утро этого трудного лета (я готовился к экзамену, решавшему судьбу мою) начиналось для меня слезами Татьяны и этой мукой о подстреленном младенце. Все это — Ливны. Сокровище моей души. Капли небесной росы, которые падали в себялюбивое, но все же не мертвое сердце и, прожигая его, ложились в него бриллиантами. Сейчас кажется, что все они не для себя умерли, а для меня умирали, как какая-то жертва любви ко мне. И не явится ли за гранью земной жизни явью эта тайна любви...

Но лик жизни нашей был суров и важен. Не раз тогда говорили мы об этом в беседах с мамой: не странно ли? Смерть никого не минует, но почему же *тогда*, в эти ранние годы, она миновала дома наших сверстников и сродников, но ангел смерти неотступно стоял над нашим домом?

Хочется призвать и другие милые тени, которые одаряли меня дарами любви и поэзии: няня Зинаида, которая бдела над нами в наших детских бедах и была такая замечательная рассказчица о своей жизни, из крепостного быта. Она и певала нам свои песни из этого прошлого, и это пение ложилось в душу как музыка жизни. Помню оттуда такие бесхитростные слова:

В посиделках девки пряли (2).
 Они пряли, веселились, всякая с своим дружком.
 Вдруг мальчишка девке красной (2)
 Бросил взор свой распрекрасный,
 Что-то на ухо шепнул.
 Что шепнул, я не слыхала (2),
 Как взглянул, я не видала,
 Только милая узнала, что он ее сердцу мил...

А дальше следует другая картина:

Как во городе в Орле — в большой колокол звонят —
 То Парашу хоронят,
 А Ванюша-то Параши гробову доску вскрывал,
 Сам Парашу целовал.
 Ты, прости, прости. Параша, прости, милая моя,
 Не досталася, Параша, ты ни мне, никому,
 Ни злодею моему.

Она рассказывала про крепостной театр, про свою былую жизнь. И сама она как будто не существовала, она была стихией, стихией русской ласки, жалости, любви к нам. И подобной была и другая няня, Елисавета, сказочница. Как она умела рассказывать сказки, страшные, фантастические... софийные.

Ливенцы жили, кроме исключений, для нас не существовавших, в великой бедности и убожестве. Это был город не крестьян, людей производительного труда, и не купцов, и не дворян, но мелких мещан, существование которых зависело от случайного барыша и не носило в себе никакой обеспеченности. Это было ниже, чем пролетарии, трясущееся приниженное существование. Конечно, оно вырабатывало и инстинкт приниженности, было и это, но запечатлелась во мне какая-то смиренная простота, с которой несли свое существование, да кротость. Это то, что я унес со своей родины.

Родина — святыня для всякого, и как таковая она всегда дорога и прекрасна. И моя родина есть прекрасный дар Божий, благословение и напутствие на всю жизнь. И вот бреду я эту долгую жизнь и внемлю завещанию, и все яснее она раскрывается мне, как первозданная улыбка Софии Божественной, которой она позвала, приласкав меня как младенца, и тихим, тихим шепотом сказала мне свое имя. Этот шепот был тих, и Царица была закутана в рубище поверх своей царственной ризы, но я полюбил ее на всю жизнь, и всю жизнь искал встречи с ней, хотел узнать ее имя. В суете жизни я ушел из отчего дома, и в погоне за видимым я перестал ощущать невидимое и лишь просвечивающее. Но ложные обманные следы для меня гасли вме-

сте с видимыми красотами, и душа прозревала вечное и нездешнее. И теперь, на пороге иной и новой жизни, я возвращаюсь сердцем на эту мою родину и узнаю ее Имя. Узнать его значит перейти в другой мир. Не увидеть мне Ливны в этой жизни.

Но изломанными и таинственными путями Бог дал мне и вторую родину — Крым²³, но это не вторая, а тоже единственная, но которая явилась мне в другом образе славы и также с ангелом смерти. Только там родина, где есть смерть. И потому последнее слово о родине — о смерти. Ливны запечатлены и освящены могилами отца и матери. Об этом нужно сказать сердцу.

10.VII.1939

Это было написано около 1 1/2 года назад, в течение вынужденного досуга на пароходе²⁴. А затем жизнь, с ее заботами, заставила оставить и даже позабыть начатое. И так протекли месяцы и даже полтора года, и не знаю, когда бы я возвратился* к тому, что самое важное осмыслить, к своей собственной жизни. Но Господь призвал меня к тому ныне, когда ангел смерти еще раз приблизился ко мне, и «он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый». И об этом-то я чувствую ныне долг и призвание поведать...

МОЕ БЕЗБОЖИЕ

Я родился и вырос под кровом церковным, и это навсегда определило мою природу. Это есть моя «почвенность» (по крылатому слову Л. А. Зандера¹), которая повелительно звала и через многие годы призвала меня к алтарю. Рукоположение для меня было не внешним биографическим фактом, которого мог-

* Во время жительствова в Крыму под большевиками, в 1918—19 гг., я написал толстую тетрадь с повестью о своей жизни, примерно в течение 30 лет. При моей высылке я ее оставил, казалось, в надежные руки, но во время очередной паники перед обыском тетрадь была зарыта в землю и — погибла. Ее содержание невосстановимо, — ни в памяти, ни в душе, как не восстановима и запись о моем духовном умирании пред рукоположением, а об этом я жаляю больше, чем о жизнеописании. И это была — смерть первая и воскресение первое, за ними последовала теперь смерть вторая и воскресение второе. (См. запись 1942 года: «Мое рукоположение».)

ло бы и не быть, но внутренним необходимым раскрытием самого моего существа, голосом моей «левитской» крови. Я — левит и все полнее сознаю свое левитство и дорожу им (готов сказать: горжусь им). В русской истории «духовное» сословие, при всех немощах, было, действительно, и наиболее духовным. Религия детства была для меня моей стихией, призванием, влечением, которое никогда меня не оставляло, как собственное мое, глубинное естество. Я всегда жил в вере и верую. Как же могло случиться, что этой верой моей стало неверие и я в нем прожил не короткий промежуток времени, но долгие годы, целую часть своей жизни, примерно с 14—15-го года жизни, стало быть, с отрочества и ранней юности до зрелого возраста, примерно до исполнившегося 30-летия. На это время падают и такие события моей жизни, как вступление в брак, рождение первого ребенка, смерть деда и братьев... Как произошло это отшествие блудного сына из дома отчего, о котором я всегда, хотя сначала и бессознательно, а затем и все более сознательно, тосковал? Как?

Странным образом на этот вопрос, как совершилось это падение, которым, конечно, явилось для меня отпадение от веры, я принужден ответить: никак. На Страшном Суде Христовом обнаружатся все тайники души и глубины греха, в которых это зародилось, но — дерзну исповедывать наряду с грехом своим и всю, конечно, относительную и ограниченную, малую правду своего безбожия. Поскольку в нем совершилась моя трагическая судьба. Впрочем, я привык думать (и постигаю это все глубже), что вообще лишь трагедия, конечно, с ее преодолением, есть единственно достойный «путь спасения». На путях человеческих надлежит быть и «ересям», да откроются искуснейшие в искусстве их², а от искушений не освобожден был праведный Иов³ и их не отрицался и сам Сын Божий как Сын Человеческий⁴.

Общий характер моего искушения в неверии и моей трагической в нем судьбе я определил бы как несоответствие между тем образом религиозной жизни, как она определялась для меня тогда в мысли и культуре, и моими личными запросами, отречься от которых я не мог и не хотел, во имя правды, как я ее тогда понимал. Отказаться от ее критерия, вступить на путь внутреннего и внешнего компромисса и тем более остаться в нечувствии его я также не мог и не хотел. Я должен был вступить в борьбу, но не преклониться перед обывательством и порабощением духовным, которые изнутри проникали поры церковности, меня окружавшей. И единственным исходом для

этой непримиримости и этого моего разлада явилось... безбожие, уход из отчего дома.

Я повторяю, что никогда не терял веры и не погружался в неверие, но всегда жил верой, сколь бы она ни была слепотствующей. И, однако, не могу без скорби и раскаяния вспоминать и теперь об этих годах тьмы и отпадения... Как это случилось? Как-то сразу, неприметно, почти как нечто само собою разумеющееся, когда поэзию детства стали вытеснять проза бурсачества⁵ и семинарии. Конечно, здесь в духовном смысле побеждала и гордость, нежелание согласиться, стать как все, разделить общий образ бытия. А его неприятие так легко, — с преступной легкостью — переходило в холодность к детским верованиям и их отвержение. Когда же началось сомнение, критическая мысль, рано пробудившаяся, не только перестала удовлетворяться семинарской апологетикой, но и начала ею соблазняться и раздражаться. Семинарская учеба непрестанно ставила мысль перед вопросами веры, с которыми не под силу было справляться своими силами, а то, как все это преподавалось, еще более затрудняло мое внутреннее положение. Не буду здесь вспоминать не добрым словом наставников своих, в которых много было доброго и светлого, а если и были слабости, то *temporis vitia, non hominis*⁶. Однако внутренний разлад, однажды появившийся, все углублялся и переходил в религиозный кризис. Это было то состояние, которое описано в стихах честного семинариста, прошедшего тем же путем, Н. А. Добролюбова⁷: «гимнов божественных пение стройное — память минувшего будит во мне». Оно заканчивается словами: «детскими чувствами вновь я горю, — но уста уже не шепчут моления — но рукой я креста не творю». И это противление еще усиливалось чрез принудительное благочестие: продолжительные службы, с «акафистами»⁸ и под., вообще обрядовое благочестие уже не удовлетворяло, а только раздражало, мистическая же его сторона все больше переставала для меня существовать.

Здесь вступила в действие еще новая сила, — интеллигентщина, — судьба и проклятие нашей родины, искушение от нигилизма, надолго оторвавшее меня от почвы. Естественно и почти без борьбы потеряв религиозную веру, я сделался «интеллигентом» как в положительном, так и отрицательном смысле: интеллигентности в само собою разумеющемся соединении с нигилизмом. Однако, — опять-таки и здесь я должен наряду с исповеданием всей лжи нигилизма — свидетельствовать и о правде моей непримиримости к раболепству и порабощенности всей русской жизни, в частности и церковной, общего характе-

ра эпохи. Этого я не мог и не должен был принять, и в этом неприятии я не могу раскаиваться. В известном смысле могу сказать, что его я сохранил «даже и до дня сего» и хочу сохранить до конца своих дней, — верность началам свободы и хранения человеческого достоинства, с непримиримостью ко всякому «тоталитаризму». Здесь я хочу остаться в рядах русской «прогрессивной» (не хочу отрицать также и этого слова) общечеловечности.

Однако именно на этих путях, общественного и государственного самоопределения, меня ждали наибольшие трудности и искушения, особенно в отношении к священной царской власти. Здесь я сразу и всецело стал на сторону революции с ее борьбой против «царизма» и «самодержавия». Это явилось совершенно естественным, что с утратой религиозной веры идея священной царской власти с особым почитанием помазанника Божия для меня испарилась, и хуже того, получила отвратительный, невыносимый привкус казенщины, лицемерия, раболепства. Я возненавидел ее, в единомыслии со всею русскою революцией, и постольку разделяю с нею и весь грех ее перед Россией. Однако грех этот состоит не столько в свободолюбии и в этом смысле революционности, сколько в нигилизме и историческом своеволии, в последнем счете, самочинии с отсутствием чувства меры. Во всяком случае, вся гамма монархических чувств, если и была когда-нибудь хотя бы в малой степени мне знакома, быстро во мне испарилась. Я еще помню из отрочества, как я, десятилетним мальчиком, горестно переживал убийство Александра II⁹, со всей трогательностью этой кончины, еще усиливавшейся обликом Царя-Освободителя. Однако этот облик был совершенно вытеснен из памяти сердца политическим обликом его преемника и всем общим характером царствования Александра III¹⁰. Этот режим я переживал, со дней юности своей, со всей непримиримостью, и вся связь «православия с самодержавием», как она тогда проявлялась, была для меня великим и непреодолимым соблазном не только политическим, но и религиозным. В таком же настроении встречено было мною и вступление на престол его преемника, с речью о «бессмысленных (беспочвенных) мечтаниях»¹¹ (о конституции). Лишь с началом революции, а вместе с нею всей русской катастрофы, с 1905 года, я стал преодолевать революционные искушения*, и однако также не в смысле измены свобод — по-

* Вспоминаю следующий символический жест: 18 октября 1905 г. в Киеве я вышел из Политехникума с толпой студентов праздновать

вторую, здесь я не могу и не хочу ничему изменять, но в отношении к идее священной власти, которая получила для меня характер политического апокалипсиса, запредельного метаисторического явления Царствия Христова на земле. Эту свою тоску о «Белом Царе» и любовь к нему я выразил в диалоге «Ночь», написанном в 1918 году уже после падения царской власти¹³. Однажды, всего на краткое мгновение, мелькнуло предо мною ее мистическое видение. Это было при встрече Государя. Я влюбился тогда в образ Государя и с тех пор носил его в сердце, но это была — увы! — трагическая любовь: «белый царь» был в самом черном окружении, чрез которое он так и не мог прорваться до самого конца своего царствования. Как трагично переживал я надвигающуюся революцию и отречение от престола, как я предвидел с самого этого дня всю трагическую судьбу и Государя, и его семейства. Долгое время я бредил мыслью о личной встрече с Государем, в которой бы хотел выразить ему все царелюбивые, но и свободолюбивые свои идеи и молить его о спасении России. Но это был только мечтательный бред, которому не соответствовала никакая действительность. История уже сказала свой приговор. То был мой личный апокалипсис, — был и есть — но историческая и церковная действительность — увы! — были тогда страшны, но не «апокалиптичны», в смысле свершений, а только в смысле трагических путей своих, которыми и пошла через революцию в советчину, к дальнейшим, еще неявленным и неразгаданным судьбам Россия.

Возвращаюсь к своим собственным судьбам в «интеллигентщине». Я оказался ею отравлен чрез такое привитие этого яда, которому я бессилён был оказать противодействие*. Рок мой состоял в том, что в том возрасте, когда во мне пробудилась критическая мысль, я находился в среде некультурной или, лучше сказать, внекультурной, и это делало меня в известной степени беззащитным перед ядами интеллигентщины, но вместе и лишенным ее благ и вообще культурного воспитания. Я находился в известном смысле в состоянии первоначальной невинности, святого варварства. Когда же столкнулся с ревизионным

торжество свободы, имея в петлице красную тряпицу, как и многие, но, увидав и почувствовав происходящее, я бросил ее в отхожее место. И мне открылось Евангелие со следующим текстом в ответ на мое немое вопрошание: «сей род изгоняется молитвой и постом»¹².

* Думаю, что моя внешняя судьба здесь аналогична судьбам также семинаристов Добролюбова и Чернышевского¹⁴.

сомнением, которое порождалось во имя культуры и свободы, я оказался пред ним совершенно беззащитным, да и обнаженным. Иной культуры, кроме интеллигентской, в ее довольно упрощенной форме политической революционности (но даже еще не социальной) я не знал. В этом отношении моя личная судьба в безбожии все-таки отличается от судеб других моих спутников жизни, которые, происходя из культурной среды (Водовозов, Струве¹⁵), могли быть и по-иному ответственны за свое мировоззрение. Я оказался отрочески беспомощен перед неверием и в наивности мог считать (на фоне, конечно, и своего собственного отроческого самомнения), что оно есть единственно возможная и существующая форма мировоззрения для «умных» людей. Мне нечего было противопоставить и тем защититься от нигилизма. При этом те, довольно примитивные, способы апологетики, вместе с неудовлетворявшими меня эстетическими формами, способны были содействовать этому переходу от православия к... нигилизму. Словом, он совершался как-то в кредит, умственно безболезненно, ребячески. Вероятно, я сразу испугался твердыни нигилизма в его «научности», а вместе с тем сразу почувствовал себя польщенным тем, чтобы быть «умным» в собственных глазах. В этом, повторяю, была своя правда и честность, искание истины, хотя и беспомощное и ребяческое. Я сдал позиции веры не защищая. Впрочем, моя мера и не была никогда ранее (да и не могла быть по моему возрасту) таким мировоззрением, которое допускало бы для себя и интеллектуальную защиту. Она была для меня жизнью, мироощущением, гораздо больше, чем учением, хотя, конечно, св. Евангелие, некоторые жития святых (напр<имер>, Марии Египетской) трогали сердце и исторгали из него сладкие звуки, но это было заглушено мефистофельским шипением нигилизма. Дальше же с раз принятой установкой оно стало уже само собой развиваться и укрепляться вместе с моим собственным развитием, умственным и научным, протекавшим притом в интеллигентской среде, которой не были свойственны религиозные переживания и вопрошания, но, напротив, религиозный нигилизм являлся само собою разумеющейся аксиомой мировоззрения. Так продолжалось долгие годы, доколе не пришло время прорасти зерну моей собственной души, и этот росток властно проложил себе путь в чуждой и враждебной среде. Сейчас мне самому является чем-то для себя уничижительным, а вместе и непонятным, как мог я так долго духовно спать или находиться в духовно обморочном состоянии. Этот период религиозной пустоты представляется мне сейчас самым тяжелым временем моей

жизни именно по своей религиозной бессознательности. Очевидно, мне предстояло изжить до дна всю пустоту интеллигентщины и нигилизма, со всей силой удариться об эту каменную стену, отчего почувствовалась наконец невыносимая боль. Теперь, озирая свою жизнь уже из начала 8-го десятилетия, зная ее долготу, я вижу, что темпы ее свершений вообще были соразмерны этой продолжительности. Для того чтобы пережить данное духовное состояние в пропорциях долголетней жизни, очевидно соответствовала и большая замедленность духовных процессов, которая не соответствовала бы жизни более краткой*.

Однако, если я воспринял нигилизм без боя, это не значило, чтобы я это пережил безболезненно. Совсем напротив, теперь я вижу, как я никогда не мирился с ним, нося его как платье с чужого плеча, доколе не найдено было мною собственное. Да и вообще это мой переход не от веры к неверию, но с одной своей веры к другой, чужой и пустой, но все-таки вере, имеющей для себя свои собственные святыни. Эта верность вере, призвание к вере и жизнь по вере (если и греховная даже в отношении к ней, то во всяком случае судимая ее собственным, имманентным судом) — есть основной факт моей жизни, который мне хотелось бы установить и утвердить именно пред лицом моего неверия. Человек есть вообще верующее существо, призванное к вере и к жизни по вере. Но не все сознают это с равной степенью ясности. Для меня же это открылось с такой полной очевидностью именно потому, что имея, может быть, по левитству своему, особую призванность к вере, в свете ее, загоревшемся во мне, и на протяжении всей жизни в вере, являюсь способен ощутить в себе и оценить во всей силе этот основной факт веры и неверия познать как особый образ или разновидность веры. Такова была психология моего неверия. Дважды я переживал потерю веры, как общий жизненный кризис, настолько, что однажды во мне раздалась мысль о самоубийстве на религиозной почве, т. е. утрачивался и смысл жизни вместе с потерей веры. Этого не было в отрочестве в ранний период неверия, но проявилось с неожиданной и большой силой на грани юности.

* На путях Промысла Божия эти времена и сроки человеческой жизни имеют, очевидно, свою таинственную предустановленность. Мой beau-père¹⁶, Н. В. Водовозов, умер от чахотки 25-ти лет, в расцвете интеллигентской гордыни и нигилизма. Значит ли это, что ему уже нечего было изживать на земле и он отозван был для того в иные сферы?

Бессознательное религиозное вдохновение подавалось мне даже в период безверия, веяние смерти, ее благодать с откровением потустороннего мира. Наряду с этим, и самый характер моего неверия не был состоянием религиозной пустоты и индифферентизма, но вера в «прогресс» человечества и под. Она включала не только определенную этику, но и эсхатологию. Мое неверие было существенно эсхатологично. Оно знало свои восторги веры. Я вспоминаю такие минуты некоего как бы пророческого вдохновения, когда свои видения грядущего человеческого прогресса я невольно облакал в образы жизни в Боге: люди будут боги¹⁷, говорил я себе (кажется, и другим) с юным горением сердца и, разумеется, без всякого оттенка богоборчества или кощунства. Напротив, то было бессознательное видение истины богочеловечества, которое во мне всегда просилось наружу, искало для себя выхода. Но выход этот должен быть найден достойно, а этого я не умею найти. И так создавался духовный плен. Найти же себя в православии, которое было для меня родным, мешал, кроме моей юношеской гордости, его «зрак раба»¹⁸, культурное убожество и историческая бескрылость «исторической Церкви», пойти же на открытую борьбу с интеллигентщиной не находилось сил. Таким образом, я оказался уже в начале своего жизненного пути *между двух миров*, не будучи способен слиться ни с одним из них, двух станов гость случайный. Так предопределилась судьба всей моей жизни, пока еще в смутных первообразах: чужой среди своих, свой среди чужих, а в сущности нигде не свой... Один в поле не воин, но всегда и везде один...

ПЯТЬ ЛЕТ (1917—1922)

Царьград. 17/30. III. 1923

Жизнь дается один раз человеку, и в этом смысле дорога и интересна всякая жизнь. Индивидуальность есть как бы окно, чрез которое зрится поток жизни, и личная судьба есть рамка, в которой она оформляется, дробится, конкретизируется. То важное, дивное и страшное, чему суждено было стать свидетелями и участниками людям нашего поколения, каждым испытано и пережито по-своему. И в этом — оправдание и вместе побуждение рассказать о пережитом каждым по-своему. Это же понуждение испытываю я теперь, когда волею судеб прервалась временно линия моей жизни и я оказался выброшен из преде-

лов России. Отрезок времени от начала революции лежит предо мною, если не законченным внутренне, то оборванным, как обрывается всякая жизнь. И невольно хочется посмотреть на него извне и изнутри как на целое, еще раз пережить и понять. Однако я чувствую себя не в силах писать воспоминания. В свое время я делал заметки в потаенной книге сердца, род интимного дневника. Но его нет со мной, как нет вообще никаких материалов, а надорванная и ослабевшая память не помогает. К тому же никогда у меня не было ни интереса, ни вкуса к конкретному, к действительности, такова моя слабость и мое свойство. События всегда воспринимались мною в виде звуковых или красочных нитей определенного колорита и насыщенности, но я не имел ни умения, ни вкуса разлагать их на конкретности. При этом сам я, как ввиду личной слабости, так и ввиду особого своего отношения к современности, к которой почему-то всегда оказываюсь не современным, чужим в трагическом разладе, не принимал активного участия в событиях, был ими влеком, но не делал их, созерцал и чувствовал, но не был деятелем, по крайней мере, в смысле внешнего исторического дела. Пусть так. Но ведь и то, что совершалось в душах людей, имеет право на такое же внимание, как внешние события. И события в душах, в известном смысле, важнее и существеннее внешних событий. Попытаюсь и я закрепить те, бледнеющие уже нити своих воспоминаний о том, как революция, происходившая извне, протекла в моей душе и отражалась в моих судьбах. Но я чувствую потребность сделать здесь нечто вроде пролога, — о себе, о том, что я был и чем стал к тому времени, когда грянула мировая война, а за ней и революция.

Агония

Революцию я пережил трагически, как гибель того, что было для меня самым дорогим, сладким, радостным в русской жизни, как гибель любви. Да, для меня революция именно и была катастрофой любви, унесшей из мира ее предмет и опустошившей душу, ограбившей ее. Пусть смеются над этой трагической эротикой, которая все время составляла *error in objecto*¹, пока не погиб сам объект. Однако это было так. В предреволюционной России был такой безумец, который носил в сердце стыдливую и до конца никогда не высказанную трагику любви которая все время и попиралась ее объектом. Я любил Царя, хотел Россию только с Царем, и без Царя Россия была для меня и не Россия. Первое движение души — даже полусознательное,

настолько оно было глубоко, — когда революция совершилась и когда по-прежнему раздавались призывы: война до победного конца, было таково: но зачем же, к чему теперь и победа без Царя? Зачем же нам Царьград, когда нет Царя? Ведь для Царя приличествовал Царьград, он был тот первосвященник, который мог войти в этот алтарь, он и только он один². И мысль о том, что в Царьград может войти Временное Правительство с Керенским, Милюковым³, была для меня так отвратительна, так смертельна, что я чувствовал в сердце холодную, мертвящую пустоту. Я не был «монархистом» в политически-партийном смысле, как есть и были они в России, и вообще я никого почти не знал, с кем мог бы разделить эти чувства мистической любви. Но у меня было на душе так, как бывает, когда умирает самое близкое, дорогое существо, после безнадежной продолжительной болезни. Однако подобно тому, как здесь же бывает, испытывалось и облегчение, потому что агония любви моей была невыносима, она парализовала во мне всякую активность. В сущности, агония царского самодержавия продолжалась все царствование Николая II, которое все было сплошным и непрерывным самоубийством самодержавия. Теперь, после всего, что мы уже знаем о царе и об его царствовании, это выступает с новой очевидностью. Раньше могло казаться, что революцию сделали революционеры, — и это верно в том смысле, что *такую*, т. е. интеллигентскую, революцию сделали действительно революционеры во имя своей интеллигентщины⁴, но это лишь *как*. К несчастью, революция была совершена помимо всяких революционеров самим царем, который влекся неудержимой злой силой к самоубийству своего самодержавия, влекся чрез Ялу, Порт-Артур и Цусиму⁵, чрез все бесчисленные зигзаги своей политики и последний маразм войны.

Я ничего не мог и не хотел любить, как Царское самодержавие, Царя, как мистическую, священную Государственную власть, и я обречен был видеть, как эта теократия *не удалась* в русской истории и из нее уходит сама, обмирщившись, подменившись и оставляя свое место... интеллигентщине. И теперь только я вижу и понимаю, что эта *неудача* была глубже и радикальнее, чем я ее тогда умел видеть. Самоубийство самодержавия, в котором политические искажения в своевольном деспотизме соединились с мистическими аберрациями в Распутине⁶ и даже семейным психозом в царице, *не* имели виновника в Николае II, ни в его семье, которые по своим личным качествам были совершенно не тем, чем их сделал их престол. Это самоубийство было предопределено до его рождения и вступле-

ния на престол, — здесь античная трагедия без личной вины, но с трагической судьбой: Эдип должен убить отца и жениться на матери, хочет он этого или не хочет⁷. Николай II с теми силами ума и воли, которые ему были отпущены, не мог быть лучшим монархом, чем он был: в нем не было злой воли, но была государственная бездарность и в особенности страшная в монархе черта — прирожденное безволие. Но разве он сам восхотел престола и от его ли воли зависело то, что он на нем унаследовал? Но такой, как он был, он мог только губить и Россию, и самодержавие. И добавлю еще: разве не правого он восхотел, когда он, теократический царь, как это он верно и глубоко понял в царском сердце своем (вопреки всем окружающим, хотевшим видеть в нем только политического монарха, самодержавного императора), взыскал вдохновения свыше, духа пророчесственного, и обрел его... в Распутине... И, однако, неудача самодержавия в лице Николая II была настолько велика, непоправима, что она обрекала того, кто мог и хотел любить только самодержавие, понятое как государственная вселенская идея, на ежечасное умирание. И, притом, в повседневной жизни эта неудача измельчалась, она разменивалась и дробилась, принимала вид пошлый, жалкий и ничтожный. Царя можно было любить только в уединении, но всякая встреча в действительности оскорбляла и ранила, приносила миллион терзаний. Вместе с тем глубоким мистическим чувством, которое дает только зрячая любовь, я видел и знал, что неудача самодержавия есть неудача России и гибель царства есть гибель и России. Я это знал и думал до революции, я это теперь со всей ответственностью исповедую и утверждаю, и потому я не хотел революции, когда все ее хотели, и плакал, когда все радовались, я хоронил, когда все стремились к новому браку...

Сделаю здесь небольшое отступление, чтобы сказать, как и когда появилось у меня это «шестое чувство». Всю свою молодость и сознательную жизнь до первой революции я был непримиримым врагом самодержавия, я его ненавидел, презирал, гнушался им, как самым бессмысленным, жестоким пережитком истории. Самодержавие — это полиция, жандармы, тюрьма, ссылка, придворные, ни для кого не нужные и не интересные приемы и парады и убийственная жестокость к русскому народу. Всю гамму интеллигентской непримиримости к самодержавию я изведal и пережил. В студенчестве я мечтал о цареубийстве (хотя, разумеется, меня начинало трясти уже при мысли об исполнении акта), когда я вступил на путь религии⁸, самодержавие казалось мне главнейшим религиозным врагом,

с которым связана основная ложь нашей церковности. И в своих мыслях и чувствах я не находил никакого подхода к тому, чтобы можно было мистически познать и признать самодержавие. В подготовке революции 1905 г. участвовал и я как деятель Союза Освобождения⁹, и я *хотел* так, как хотела и хочет вся интеллигенция, с которой я чувствовал себя в разрыве в вопросах веры, но не политики. В Киеве, где я профессорствовал эти годы (1901—1906), я занимал вполне определенную политическую позицию. И так шло до 17 октября 1905 г.¹⁰ Этот день я встретил с энтузиазмом почти обморочным, я сказал студентам совершенно безумную по экзальтации речь (из которой помню только первые слова: «Века сходятся с веками») и из аудитории Киевского политехникума мы отправились на площадь («освобождать заключенных борцов»). Все украсились красными лоскутками в петлицах, и я тогда надел на себя красную розетку, причем, делая это, я чувствовал, что совершаю какой-то мистический акт, принимаю род посвящения. На площади я почувствовал совершенно явственно влияние антихристового духа: речи ораторов, революционная наглость, которая бросилась прежде всего срывать гербы и флаги, — словом, что-то чужое, холодное и смертоносное так оледенило мне сердце, что, придя домой, я *бросил свою красную розетку в ватерклозет*. А в Евангелии, которое открыл для священногадания, прочел: сей род (какой род, я тогда еще не умел распознать) изгоняется молитвой и постом¹¹. Но тогда для меня ясно было присутствие *сего рода*, от которого вечером того же дня начались в Киеве погромы, только в том черном стане, но не в этом с красной петлицей. Однако развернувшаяся картина революции очень скоро показала, что представляет собою революция как духовная сущность. И я уже с этого времени отделился от революции и отгородился от нее утопической и наивной мыслью о создании *христианского* освободительного движения, для чего нужно создать «союз христианской политики»¹² (ранний прототип «живой церкви»¹³). Я постиг *мертвящую* сущность революции, по крайней мере русской, как воинствующего безбожия и нигилизма. До сих пор я кой-как старался зажимать себе нос, чтобы не слышать этого трупного запаха. С революцией было нам не *по пути*, потому что, пока Россией правила черная сотня, казалось оправданным бытие красной сотни. Постепенно, по мере того как выявлялась духовная сущность русской революции в истории 1905—1907 гг., для меня становилась невозможна всякая связь с ней. Становилось очевидно, что революция губит и погубит Россию. Но не менее ясно было

для меня тогда, что ее не менее верно губит и самоубийца на престоле, первый деятель революции, Николай II. И из этого рокового кольца революции, в котором боговенчаный монарх в непостижимом ослеплении и человеческом слабоволии подавал руку революции, казалось, не было выхода. Слишком страшно было думать всерьез и говорить о гибели России (хотя я и говорил еще в «*Вехах*»¹⁴), тем более что все еще оставалась надежда найти *вне*революционный, свободный от красной и черной сотни культурный центр, опираясь на который можно было бы освободить царя от революции (тогда мы еще не знали, что революция имеет неотразимую силу на него через ближайшего ему человека — любящую, преданную жену, ибо царица Александра оказалась в полном смысле слова роковой революционеркой, что она дала революции проникнуть во святая святых царя и утвердиться во дворце). Культурный консерватизм, почвенность, верность преданию, соединяющаяся со способностью к развитию, — таково было это задание, которое и на самом деле оказалось бы спасительным в истории, если бы было выполнено. Впрочем, про себя лично скажу, что, хотя в бытовых и практических отношениях я шел об руку с этим культурным консерватизмом (как он ни был слаб в России), исповедовал почвенность, однако в глубине души никогда не мог бы слиться с этим слоем, который у нас получил в идеологии наиболее яркое выражение в славянофильстве (с осколками славянофильства: Д. Ф. Самариним, И. В. Мансуровым, М. А. Новоселовым, В. А. Кожевниковым¹⁵ и др. я дружил и лично). Меня разделяло общее ощущение мира и истории, какой-то внутренний апокалипсис, однажды и навсегда воспринятый душой, как самое интимное обетование и мечта. Русские почвенники были культурные консерваторы, хранители и читатели священного предания, они были живым отрицанием *нигилизма*, но они не были его преодолением, не были потому, что сами они были, в сущности, духовно сыты и никуда не порывались души их, никуда не стремились. Они жили прошлым, если только не в прошлом. Их истина была в том, что прошлое *есть* настоящее, но настоящее-то не есть только прошлое, но оно есть и будущее, и притом не только будущее, которое есть выявление прошлого чрез настоящее в будущем, т. е. *только* прошлое, а будущее, как новое рождение. «Се Аз творю все новое»¹⁶. К этому новому рвалась и рвется, его *знает* душа. И это религиозно-революционное, апокалипсическое ощущение «прерывности» (о чем любил философствовать рано ушедший друг наш В. Ф. Эрн¹⁷) роднит меня неразрывно с революцией, даже — *horribile dictu*¹⁸ с

русским большевизмом. Отрицая всеми силами души революционность как мировоззрение и программу, я остаюсь и, вероятно, навсегда останусь «революционером» в смысле мироощущения (да разве такими «революционерами» не были первохристиане, ожидавшие скорого мирового пожара). Но эта «революционность» в русской душе так неразделимо соединилась с гадаринской бесноватостью¹⁹, что с национально-государственной и культурной точки зрения она может быть только самоубийственной. К чему я об этом говорю здесь, в воспоминаниях? Да потому, что понимание этого со всею ясностью у меня явилось уже в 1906 г. и определило собою и мой образ действий, и мировоззрение. Дореволюционные безумства и наглость 1905 г., совет рабочих депутатов, экспроприации, убийства и, как ответ на это, военно-полевые суды, с жестокостями, с которыми было так же невозможно мириться, как с низостями революции. И, казалось, нет выхода. Промелькнула первая Государственная дума²⁰: она блеснула своими талантами, но обнаружила полное отсутствие государственного разума и особенно воли и достоинства перед революцией, и меньше всего этого достоинства было в руководящей и ответственной кадетской партии, получившей бесславный конец в Выборге²¹, ибо Выборг был несомненно самоубийством партии, от которого она уже не оправилась. Вечное равнение налево, трусливое оглядывание по сторонам было органически присуще партии и вождям при всех достоинствах и заслугах их в отдельности, и это неудивительно, потому что духовно кадетизм был поражен тем же духом нигилизма и беспочвенности, что революция. В этом, духовном, смысле кадеты были и остаются в моих глазах революционерами в той же степени, как и большевики, и исключения здесь лишь подтверждают общее правило: насколько те или иные отдельные лица (как П. Б. Струве или П. И. Новгородцев²², — не говорю о кадетах, случайных для блока, как А. В. Карташев²³) они перерастают свой кадетизм. Все дело в *религиозном* самоопределении, а эту-то сторону по наивности и в революционном ослеплении кадеты оставили в тени, предоставляя его «терпимости», т. е. нигилизму. Наконец, среди правых руководящую роль задавали погромные элементы либо такого рода консерватизм (например, митрополит Антоний, Грингмут, пр. Восторгов²⁴), для которого нет никакого просвета ни в настоящем, ни в будущем: это поклонники московщины и деспотизма реакции под маской консерватизма. Погромщики же (Дубровин и К^о) подняли голову и образовали свои боевые дружины²⁵. И, однако, они исповедовали православие и народность, которые и я тогда исповедо-

вал, и я чувствовал себя в трагическом почти одиночестве в своем же собственном лагере.

В это время образовалась крошечная группа людей, составивших вскоре Религиозно-философское общество имени Вл. Соловьева в Москве²⁶ (следящим за русской религиозной мыслью известны эти имена). В то время, около 1905 г., нам всем казалось, что мы-то именно и призваны начать в России *новое* религиозно-революционное движение (позднее, когда это было уже брошено нами, это было подхвачено и опошлено декламацией Мережковского²⁷, который сделал своей теноровой специальностью ноту *ре*-волюция-магия). Это были своего рода «бессмысленные мечтания», которые и обличила жизнь. В Москве дело не пошло дальше расклеивания революционных прокламаций с крестами, а я лично пытался кликнуть клич на основании «Союза христианской политики» (название, как и идея, заимствованы у Вл. Соловьева²⁸), но для этого у меня самым очевидным образом не хватало ни воли, ни умения, ни даже желания, это предпринято было, в сущности, для отписки, ради самообмана *ut aliquid fieri videatur*²⁹. Сам я очень скоро разочаровался и отказался от этой затеи. Позднее, в 1917 г., меня хотели вернуть к ней, аки «пса на блевотину»³⁰, но у меня не было на это ни малейшего желания.

Под такими воздействиями определялось мое настроение в начале революции. Своей партии я не создал, а примкнуть к кадетам я не хотел и не мог, не теряя своего лица. А в это время надвинулись выборы в первую Думу. Я не имел достаточно характера, чтобы остаться «тверд, спокоен и угрюм» перед общей сутолокой и предвыборной суетой. Для меня было необходимо пережить Государственную думу, да и, разумеется, я имел достаточные данные, а потому и обязанность вложить и свои силы в общую работу. Однако препятствием оказалась партийность. По вышеуказанным причинам, став боком к революции уже тогда, я не мог примкнуть ни к одной из политических партий, всецело стоявших на почве революционного или контрреволюционного мировоззрения (не говорю об «октябризме»³¹, который всегда имел классово-оппортунистическую природу). Между тем попасть в Государственную думу в Киеве, где я жил и где могла быть выставлена моя кандидатура с большими шансами на успех, не было возможности. Моя очередь пришла во вторую Государственную Думу, куда и выбран по родной Орловской губернии, как беспартийный («христианский социалист»³²). Я получил наконец депутатское крещение, и четырехмесячное сидение в «революционной» Государственной думе

совершенно и окончательно отвратило меня от революции. Из Государственной думы я вышел таким черным, как никогда не бывал. И это было понятно. Нужно было пережить всю безнадежность, нелепость, невежественность, никчемность этого собрания, в своем убожестве даже не замечавшего этой своей абсолютной непригодности ни для какого дела, утопавшего в бесконечной болтовне, тешившего самые мелкие тщеславные чувства. Я не знавал в мире места с более нездоровой атмосферой, нежели общий зал и кулуары Государственной думы³³, где потом достойно воцарились бесовские игрища советских депутатов. Разумеется, сам я совершенно негоден в депутаты, и потому, может быть, с таким ужасом и вспоминаю эту атмосферу. Однако я сохранил достаточную объективность и бесстрашие, чтобы видеть там происходившее. И нет достаточно сильных слов негодования, разочарования, печали, даже презрения, которые бы мне нужны были, чтобы выразить свои чувства. И это — спасение России. Эта уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных, присоедините к ним горсть бессильных, но благомыслящих людей, внушите им, что они спасители России, к каждому слову их, немедленно становящемуся предметом общего достояния, прислушивается вся Россия, и вы получите 2-ю Государственную думу. И какими знающими, государственными, дельными представлялись на этом фоне деловые работники ведомств — «бюрократы». Одним словом, 2-я Государственная дума для меня явилась таким обличением лжи революции, что я и политически от нее выздоровел. Однако я еще не стал монархистом. Мое отношение к Царю и во второй Государственной думе оставалось прежним. В мою «почвенность» идея монархии и монархической государственности отнюдь не входила. Вопрос о монархии есть, в существе дела, вопрос любви или не любви (*есть любовь и в политике*), и я не любил Царя. Мне был гнусен, разумеется, рев и рычание революционной Думы, но я ощущал как лакейство, когда некоторые члены Государственной думы удостоились царского приема, где-то с заднего крыльца. Но, выйдя из Государственной думы, после банкротства революции и разочарования в ней, куда мог я пойти? В Государственной Думе на меня произвел сильное впечатление своей личностью, смелостью, своеобразной силой слова (особенно на фоне жалкой брехни) Столыпин³⁴. Я совершенно не сочувствовал его политике, но я сохранил веру, что он любит Россию и, в конце концов, не солжет. И с этой — последней — надеждой я вышел из Таврического дворца. Это была слабая соломин-

ка, но и она уже гнулась во все стороны. И здесь была течь. И в этом я убедился с трагической ясностью, когда встретился со столыпинской работой по подготовке выборов в Государственную думу. Я снова участвовал в орловских выборах, но в Думу уже не пошел, хотя меня и посылали настойчиво. За время третьей Думы революция затихла, но зато подняла голову — все решительнее и решительнее — контрреволюция. Начались ликвидационные процессы, дело Бейлиса³⁵ и под. Россия экономически росла стихийно и стремительно, духовно разлагаясь. И за это время, каким-то внутренним актом, постижением, силу которого дало мне православие, изменилось мое отношение к царской власти, воля к ней. Я стал, по подлому выражению улицы, царист. Я постиг, что царская власть в зерне своем есть высшая природа власти, не во имя свое, но во имя Божие. Не хочу здесь богословствовать о царской власти, скажу только, что это чувство, эта любовь родилась в душе моей внезапно, молниеносно, при встрече Государя в Ялте, кажется, в 1909 г., когда я его увидал (единственный раз в жизни) на набережной. Я почувствовал, что и Царь несет свою власть, как крест Христов, и что повиновение Ему тоже может быть крестом Христовым и во имя Его. В душе моей, как яркая звезда, загорелась идея священной царской власти, и при свете этой идеи по-новому загорелись и засверкали, как самоцветы, черты русской истории; там, где я раньше видел пустоту, ложь, азиатчину, загорелась божественная идея власти Божией милостью, а не народным произволением. Религиозная идея демократии была обличена и низвергнута, во имя теократии в образе царской власти. Безбожная демократия, на которой утверждается духовно революция, несовместима с теократической природой власти, здесь водораздел: или — или: с Царем или без Царя, против Царя. А вся русская революция — я это знал и по личному опыту — всегда была *против* Царя и с демократией. В моем энтузиазме к царской власти совсем не было (и никогда не бывало) элементов полицейского черносотенства, и я не становился от этого ближе к «правым», оставаясь одиноким и безвольным мечтателем, каким был я всегда, но передо мной становился со всей трагической остротой вопрос о монархе, о носителе царской власти, в минуту ее рокового крушения, о Николае II, совершавшем самоубийство самодержавия. Ставши царлюбцем в такое время, когда царская власть уходила из мира, я обрекался на муки медленного умирания вместе с ней. Отныне, если я — монархист, я становился как-то ответственным за все те безумия и преступления, которые творились цар-

ской властью и даже именно этим монархом-самоубийцей. А в то же время в своей любви к царю я сразу же отделил от его личности вины, за которые он не был ответствен, и зло, ему не принадлежавшее, и полюбил *его* в это мгновение какой-то любовью до гроба, какою обещаются перед алтарем жених и невеста. Это — бред, которого не поймет и не простит мне интеллигенция, но это было стихийное чувство русского народа, на котором строилась русская государственность. И когда совершилось это избрание сердца, когда я полюбил *Царя*, а вследствие этого не мог не полюбить и царствующего Императора, не полюбить в нем того, что достойно любви, и прежде всего крестonosца, мое политическое бытие, как русского гражданина, стало агонией, ибо в агонии находилась историческая царская власть, и я агонизировал вместе с нею. Отмечу два-три момента в этой истории, запечатлевшиеся в моем сознании с особенной четкостью: выборы в 3-ю Государственную думу и распутинская эпопея. После роспуска 2-й Государственной думы и нового избирательного закона³⁶ правительство Столыпина проявило известную избирательную технику, которая, однако, соединилась, увы, с прямолинейностью цинизма и бесстыдства. А к этому еще не приучена русская жизнь, как приучена уже теперь (как и во всем мире, где выборы *делаются*). В качестве избирательной скотинки — *Stimmvieh*³⁷ — были избраны послушные попы, которых в огромном, ничего не соображающем количестве нагнали на выборы в качестве выборщиков и здесь заставили играть самую жалкую и вредную роль, причем дирижировал ими А. Н. Хвостов³⁸, будущий министр, а в то время нижегородский губернатор, расстрелянный большевиками. Это был отвратительно толстый и столь же развязный человек, — он внушал мне непримиримое отвращение. Рядом с раболопством духовенства была демонстрирована гнилость дворянства, которое также проявляло «классовую» разнузданность, без мысли об общерусских, государственных интересах (разумеется, за единичными исключениями, очень высокими и светлыми), и полная темнота крестьянства, которое думало только о диетах³⁹. Все это вскрыло передо мною воочию такое убожество России и, главное, такую *нечестность* власти в ее политической деятельности, что я вернулся с выборов в полном отчаянии и даже заболел от огорчения. В это время раздавались уже первые раскаты мировых громов, — начало балканской войны, повлекшей за собою через пять лет и войну мировую⁴⁰. Помню, я беседовал с П. И. Н.⁴¹ относительно нашей современности и отечественной войны: великие национальные задачи, но где же

у нас люди? Что же, с Хвостовым отечественную войну вести? И в душе была смерть... Однако к счастью или несчастью, мрачные впечатления у меня скоро изглаживаются, и к началу мировой войны я опять уже был готов славянофильствовать во всю.

С этой «бюрократией» Россия вела тяжбу о царской власти, и эта тяжба в моей душе происходила. Наблюдая непрестанно, что царь действует и выступает не как царь, но как полицейский самодержец, фиговый лист для бюрократии, я — в бессильной мечтательности помышлял об увещаниях, о том, чтобы умолять царя быть царем, представить ему записку о царской власти, но все это оставалось в преступно бессильной мечтательности. Царь ли деморализовал министров, или же деморализовался ими, только пусто было около царского трона. И когда царь бывал в Крыму, где жизнь его была близко известна, то у местных людей к нему имели приближение и доступ только карьеристы, временщики и проходимцы. Еще помню, уже во время войны, когда обаяние царя заметно пошло на убыль, был он в Москве, с обычными официальными приемами, а у нас была как раз лекция о войне (и даже именно моя ⁴²), и было так больно, что непроницаемая стена отделяет царя от тех, кто изнемогает в бесплодной идее об апофеозе царской власти.

Однако самое мучительное было связано с Распутиным и его влиянием. О действительном характере этого влияния много врали и спорили. Чаще всего приплетали всякую грязь, которой я не верил, но совсем почти не знали действительной причины его силы, — именно болезни наследника и рокового и таинственного влияния на ход этой болезни ⁴³ (и даже мне, который, как отец, должен был бы это понимать, не приходило в голову никогда, каким непрестанным и скрытым мучением, обессиливающим и терзающим, была для Царской четы неизлечимая болезнь единственного сына).

Я никогда не видел Распутина. Услышал о нем впервые в 1907 г., в бытность членом 2-й Государственной думы, от М. А. Новоселова, который тут же выразил и сомнение в мистической доброкачественности этого совершенно особого человека. Тогда же я познакомился и с архимандритом Феофаном ⁴⁴, который позднее сыграл столь роковую роль в знакомстве Распутина с Царской семьей. О Распутине заговорили несколько лет спустя, и тогда же М. А. Н., со свойственной ему ревностью о вере, начал собирать материалы о нем и готовить печатное его обличение, однако, задержанное полицией. Затем Распутин был ранен и удалился в Сибирь, но с начала войны влияние его

опять стало колоссально⁴⁵. Теперь степень этого влияния выясняется из писем царицы, но и тогда, во время войны, оно было общеизвестно и приукрашивалось, разумеется, слухами об измене. Газеты были полны намеками, сообщениями, выпадами относительно «темной силы», тем более что она давала себя знать ощутительно и в церковной жизни (удаление Самарина, опала митрополита Владимира, возвышение епископа Варнавы, Питирима⁴⁶). Это был — *позор*, позор России и царской семьи, и именно как позор переживался всеми, любящими царя и ему преданными. И вместе с тем это роковое влияние никак нельзя было ни защищать, ни оправдывать, ибо все чувствовали здесь руку дьявола. *Про себя* я Государя за Распутина готов был еще больше любить, и теперь вменяю ему в *актив*, что при нем возможен был Распутин, но не такой, какой он был в действительности, но как *постулат* народного святого и пророка при Царе. *Царь взыскал пророка*, говорил я себе не раз, и его ли вина, если, вместо пророка, он встретил хлыста⁴⁷. В этом трагическая вина слабости Церкви, интеллигенции, чиновничества, всей России. Но что этот Царь в наши сухие и маловерные дни возвысился до этой мечты, смирился до послушания этому «Другу» (как в трагическом ослеплении зовет его Царица), это величественно, это — знаменательно и пророчески. Если Распутин грех, то — всей Русской церкви и всей России, но зато и самая мысль о святом старце, водителе монарха, могла родиться только в России, в сердце царевом. И чем возвышеннее задание, чем пророчески, тем злее пародия, карикатура, тем ужаснее падение. Таково действительное значение распутиинства в общей экономике духовной жизни русского народа. Но тогда это был самый страшный тупик русской жизни и самое страшное орудие в руках революции. Этого не понимали легкомысленные попы, как Востоков, пошло игравшие в демагогию на распутинской теме, но это отлично сознавали мои друзья, которые вели через Елизавету Феодоровну⁴⁸ скрытую борьбу с Распутиным при дворе, когда А. И. Гучков⁴⁹ просил их дать материалы о Распутине для «запроса» в Государственной думе и они отказались дать эти сведения. Они не хотели революции, которой хотели все, злорадствовавшие о Распутине.

Итак, мировая война застала меня с потаенным чувством мистической любви к Царю и вместе с тем с постоянно растравляемой раной в сердце от постоянного попиранья этого чувства. Начавшаяся война принесла неожиданный и небывалый на моем веку подъем любви к Царю. Меня лично объявление войны застало в Крыму, вдали от центров. Я лишь из газет узнавал о тех

восторгах, которыми окружено было имя Государя. Особенно потрясло меня описание первого выхода в Зимнем дворце, когда массы народные, повинувшись неотразимому и верному инстинкту, опустились перед Царем на колени в иступлении и восторге, а царственная чета шла среди любящего народа на крестный подвиг. О, как я трепетал от радости, восторга, умиления, читая это. Как будто и я сам был там, как будто то видение на Ялтинской набережной теперь приняло всероссийский размер. Для меня это было явление *Белого Царя* своему народу, на миг блеснул и погас апокалипсический луч Белого Царства. Для меня это было откровение о Царе, и я надеялся, что это — откровение для всей России. В газетах стали появляться новые речи о примирении власти (читай: Царя) с народом, за этим последовали восторженные студенческие манифестации. Улицы столицы увидели неслыханное в истории зрелище: манифестации молодежи с Царским портретом и пением гимна. Государь ответил на студенческий привет достойной и теплой телеграммой. Мое сердце рвалось от восторга. Тогда я написал сумасшедшую статью («Родине»), в газету «Утро России»⁵⁰, в которой промелькнули слова о Белом Царе. Статья была замечена, что называется, спущена с рук, но не одобрена зоилами, я попал на черную доску монархизма (а некий Дориан Грей⁵¹ от профессуры, Г. Г. Шпет⁵², прислал мне ругательное письмо за «Белого Царя», в нем характерно выразилась та злоба и презрение, которое питает нигилистическая душа к светлomu образу).

Начало войны, принесшее нам неожиданные по своим размерам успехи (ведь мы все еще жили под гнетом японских поражений, и я отлично помню, как страшно было за армию с начала войны и как успокаивали и радовали первые победы, удостоверявшие, что русская армия может еще побеждать). Но скоро начались затруднения и неудачи; обнаружилась «сухомлиновщина», совершилось принятие главного командования Государем, вместо Николая Николаевича⁵³, который как-то сделался популярным. Я помню, что это пережито было мною лично как гибель страны и династии, — так это и оказалось. Я просто рыдал с этим газетным листом в руках... Чем дальше, тем напряженнее становились отношения с Государственной Думой, которая — от Пуришкевича⁵⁴ до Милюкова — принимала революционный характер. В это время с царской властью явно что-то *творилось*: какая-то мистическая рука на ней тяготила и вызывала ее судороги. Эта ежемесячная смена министров, недопустимая и в мирное время, была температурой чахоточного больного. Я изнемогал от муки, я умирал и был со-

вершенно парализован, п<отому> ч<то> присутствовал при смертном одре умирающего дорогого существа — русского царства в лице Царя. И вместе с тем, как русский патриот и гражданин, я изнемогал от тревоги и скорби за родину: так немного, казалось, нужно было, чтобы быть любимым, нужно не приближать всякую сволочь, нужно отказаться от бессмысленных назначений и дикого произвола. Наконец после Хвостова (этого самого Хвостова, который привел меня в отчаяние еще в Орле, теперь, во время мировой войны, видеть министром!) докатились до Протопопова⁵⁵. Это была настоящая мерзость, и мерзость эта была на месте святом, пятнала царскую мантию. И в это время от сгущавшихся грозových туч ударила первая молния, в декабре 1916 г. был убит Распутин.

Я был в Зосимовой пустыни⁵⁶ под Москвой на богомолье. В монастыре было, как всегда, тихо и молитвенно. Простояли, как водится, пятичасовую всенощную, исповедовались, причащались за литургией, которую совершал епископ Феодор из Москвы (он меня впоследствии и рукополагал). И вот после обедни из номера в номер поползло потрясающее известие. Распутин убит. Кто-то приехал и привез его из Москвы. Первое и непосредственное чувство было отнюдь не радости, как у большинства, но смущения и потрясения. А между тем *все* радовались, даже и монахи. Преосвященный Феодор перекрестился, узнав об этом, — помню, как меня это поразило. У меня же было твердое и несомненное чувство, которое — увы! впоследствии подтвердилось: против нечистой силы бессильна революционная пуля, и распутинская кровь прольется в русскую землю. Вместе с тем было смущение относительно бессилия Церкви, которая, очевидно, не могла заклясть беса, и его сразила офицерская пуля. С этим чувством я приехал и в Москву, где встретил те же настроения, что и в монастыре, только не робкие и тихие, но наглые и торжествующие. «Истребить гадину», — иначе не говорилось. Два года спустя после этого я познакомился с кн. Юсуповым, который мне рассказывал (очевидно, уже десятки раз) историю этого убийства с его потрясающими подробностями. В его рассказе не было ничего, кроме аристократической брезгливости, не было даже сознания того, что пуля, направленная в Распутина, попала в царскую семью и что с этим выстрелом началась революция⁵⁷. Это было уже тогда для меня очевидно. Убийство Распутина внесло недостававший элемент какой-то связи крови между сторонниками революции, а таковыми были почти все. Вокруг себя я, по крайней мере, почти не видел и не знал единомышленников. Это убий-

ство разнуздало революцию, и стали открыто и нагло говорить и даже писать — правда, не о цареубийстве, но о дворцовом перевороте. В обращение было пущено подлое словцо В. А. Маклакова о перемене шофера на полном ходу автомобиля⁵⁸, и среди мужей-законодателей, разума и совета совершенно серьезно обсуждался вопрос о том, внесет ли это какое-либо потрясение или нет, причем, конечно, разрешали в последнем смысле. Я чувствовал себя единственно трезвым среди невольного сумасшествия: иначе нельзя было понять это повальное ослепление. И, конечно, для меня обезвкусивалась, теряла радость Россия без любимого Царя. Особенное недоумение и негодование во мне вызывали в то время дела и речи кн. Г. Е. Львова⁵⁹, будущего премьера главноуправляющего правительства. Его я знал во время 2-й Государственной думы как верного слугу Царя, разумного, ответственного, добросовестного русского человека, относившегося с непримиримым отвращением к революционной сивухе, и вдруг его речи на ответственном посту зовут прямо к революции, — такова была, например, его прокламация по поводу неразрешенного всероссийского земского съезда⁶⁰. Это было для меня показательным, п<отому> ч<то> о всей интеллигентской черни не приходилось и говорить. Не иначе настроены были и мои близкие: Н. А. Бердяев бердяевствовал в отношении ко мне и моему монархизму, писал легкомысленные и безответственные статьи о «темной силе»; кн. Е. Н. Трубецкой плыл в широком русле кадетского либерализма и, кроме того, относился лично к Государю с застарелым раздражением (еще по делу Лопухина⁶¹). Г. А. Рачинский⁶², конечно, капитулировал по всему фронту и был левее левых (впрочем, он и прежде был таков же). Из моих друзей только П. А. Флоренский знал и делил мои чувства в сознании неотвратимого и отдавался обычному для него *amor fati*⁶³. Л. В. Успенский⁶⁴, любимый из моих учеников и молодых товарищей, которому я мог открывать свою душу, спорил со мною, как политическим утопистом. А я, повторяю, чувствовал себя единственным трезвым среди пьяных, единственным реалистом среди всяких иллюзионистов, и мой реализм было православие, моя трезвость — любовь к Государю. Я видел совершенно ясно, знал шестым чувством, что Царь не шофер, которого можно переменить, но скала, на которой утверждаются копыта повиснувшего в воздухе русского коня.

Незабываемым по силе и остроте впечатления остался в моей памяти один декабрьский вечер в квартире Угримовых⁶⁵ в Никольском переулке. Там делился своими впечатлениями только

что вернувшийся с фронта И. П. Демидов⁶⁶. Я знал его раньше как исключение среди кадет по своей церковности, почвенности и вообще какому-то особенно напряженному строю души. Его доклад был богат содержанием, он сообщил много удивительного и трогательного о русском солдате, давал полную надежду на победу, но являлся сплошным обвинительным актом против Царя как Главнокомандующего за его безответственные и вредные действия по смене начальствующих отдельными частями и армиями. Доклад был гневен, страстен и по-своему убедителен, он заставлял думать, что русское дело в неверных руках и эти руки надо устранить во имя победы, для спасения родины. Этот самый фальшивый и самый опасный лозунг, который изобрела и которым победила революция, не останавливающаяся ни перед какой, даже самой заведомой ложью, здесь провозглашался устами искреннего и доброго, но слабого мыслителя и волея, как и все мы, русского человека, и от этой авторизации приобретал особую убедительность. Он свидетельствовал, что революция проникла уже на фронт, отравила высшее командование. Я чувствовал в этот вечер, как смерть входила в мою душу. Начался обмен мнений, который сводился к полному согласию с оратором относительно необходимости перемены шофера, и только спрашивали его, как примет это фронт и не пошатнется ли, причем, с своей стороны, выражали уверенность, что это пройдет незамеченным и фронтом, и страной и опасностью для обороны совсем не угрожает. Был ряд ораторов, в числе их я запомнил именно Н. А. Бердяева, поэтому что он, по обычаю, говорил против меня и бил именно по мне. Из всех только я один говорил против, т. е. выражал ту простую мысль, что революция, хотя бы и дворцовый переворот, не может пройти незаметно, не вызвав потрясений на фронте. Сочувствовал мне только один протоиерей о. И. Фудель⁶⁷, который при выходе сказал мне упавшим и полным отчаяния голосом, что он давно уже видит всю неизбежность революции и всю ее гибельность. Но в этом чуждом для меня собрании и он молчал, да и мое выступление имело значение только для исповедания веры. О, как часто впоследствии вспоминал я этот декабрьский вечер с его безвыходной тоской. В это время в Москве происходили собрания, на которых открыто обсуждался дворцовый переворот и говорилось об этом, как о событии завтрашнего дня. Приезжал в Москву А. И. Гучков, В. А. Маклаков, суетились и другие спасители отечества. Во главе власти стоял в это время Штюрмер⁶⁸, а министром внутренних дел был сделавшийся быстро всем ненавистным и никому не милым и не нужным Про-

топопов, ведший политику ничтожества и страха. И вот грянула роковая гроза.

Начало ее застало меня опять не дома, а на богомолье у Троицы. 26 февраля, день рождения моей жены, мы привыкли проводить у Троицы-Сергия, были там и на этот раз. Так хорошо было оказаться среди снегов, в скитах и в окрестностях посада. Возвратясь к вечеру домой, мы узнали по телефону, что в Петрограде происходят события: распущенная Государственная дума отказалась повиноваться и объявила себя Временным правительством. Известия шли за известиями с удручающей быстротой и несомненностью, и очень быстро революция передавалась Москве. Уже на следующий день появились на улицах сначала угрожающие объявления, а затем «революционные бюллетени», которые, по привычке, сначала было страшно читать, однако читались всеми, и там уже открыто оповещалось о ходе революции в столице. *Исчезла полиция*, но вскоре начали ловить и водить переодетых городских и околоточных, с диким и гнусным криком толпа провожала затравленных зверей. Улицы все более переполнялись народом. На следующий день около манежа уже появились военные части, и неслись какие-то автомобили, на которых появились сразу зловещие длинноволосые типы с револьверами в руках и соответствующие девичьи. Кремль был взят почти без одного выстрела, и к вечеру Москва оказалась в руках революционной власти. Эти дни улицы были полны народом, который шел с гнусными революционными песнями на гнусные свои демонстрации. Временами слышались всплески — это долавливали городских. Объявлено было «благодарственное Господу Богу молебствие», шли войска на парад, и там было кощунственно и гнусно. Все радовались, все ликовали, красный Дионис ходил по Москве и сыпал в толпу свой красный хмель. Все было в красном, всюду были гнусные красные тряпки, и сразу же появились не то немцы, не то большевики, с агитацией против войны. У меня была смерть и на душе. Революция была мне только постыла и отвратительна. Я хорошо *помнил* революцию 1905 г., чтобы не предаваться ни в какой мере обаянию... И, вместе с тем, я любил Царя и изнывал в тревоге за Царскую семью. Однако был момент малодушия, когда я захотел выдавить из себя радость, слиться с народом в его «свободе». Не хватило характера презирать и негодовать до конца. Я шел по Остоженке в народном шествии в день парада и пьянил себя. Однако этого хватило на полчаса, и ничего не вышло, кроме омерзения. Я видел и чувствовал, что пришел красный хам, что жизнь становится вульгарной и низкой и нет

уже России. А между тем кругом все сходило с ума от радости, и как я ни сторонился в эти страшные дни, но и мне приходилось попадать в круги профессионально радующихся. Так, например, в кругу профессоров и студентов — демонстративно хоронили в красном гробу *одну* жертву революции — произносились ликующие речи, делались соответствующие обещания, распространялся «заем свободы», брехня Керенского еще не успела опостылеть, вызывала восхищение (а я еще за много лет по отчетам Думы возненавидел этого ничтожного болтуна). И я, мрачным Гамлетом, хотя, конечно, не обнаруживавшим своего безочарования (хотя и молчание на фоне общего иступления было достаточно красноречиво), проходил среди этих сумасшедших. Была Крестопоклонная неделя⁶⁹ Великого поста. — Об этом, конечно, все забыли, а у меня были самые тяжелые предчувствия от этого символического совпадения. Однако вся мысль и забота (уввы! бессильная и бездейственная!) была о Нем, о Помазаннике. Что с Ним? Удержится ли он на престоле? Если да, то можно мириться со всякими ответственными министерствами (так *тогда* казалось, в страхе за него, быть может, и неверно казалось). Затем поползли слухи о вынужденном отречении: я и этого ждал, п<отому> ч<то> знал сердцем, как там, в центре революции, ненавидели именно Царя, как там хотели не конституции, а именно свержения Царя, какие *жиды* там давали направление. Все это я знал вперед и всего боялся — до царевбийства включительно с первого же дня революции, ибо эта великая подлость не может быть ничем по существу, как царевбийством, которая есть настоящая черная месса революции. И вот понеслась весть за вестью: Царь отрекся. Одновременно с этим в газетах появились известия об «Александр Феодоровне» (по новой жидовской терминологии, с которой нельзя было примириться): больны корью Царевны, болен Наследник и она под арестом. Слезы, бессильные и последние, душили при чтении, а газетчики кричали по улице гнусные слова: «Арест Романова» и пр. Государь был действительно арестован и отвезен в Царское Село, там соединен с семьей. Стали доходить только отрывистые сведения о нем, хотя поражало, что во всем этом море лжи, клеветы и ругани он выходил прекрасным и чистым. Ни единого неверного, неблагородного, нецарственного жеста, такое достоинство, такая покорность и смирение. Подходила Пасха. Мысль о них: что с ними, как? Появилось сведение, что они говели, причащались, что к ним допущен священник. Рассказывалось, что Государь работает в саду и как оскорбляют его хамократы⁷⁰. И, однако, оглушаю-

щий поток событий неся с такой стремительностью, что заставлял забывать о царскосельских узниках до новых слухов или известий.

МОЕ РУКОПОЛОЖЕНИЕ (24 ГОДА)

Игорю Платоновичу Демидову

Я родился в семье священника, во мне течет левитская кровь шести поколений. Я вырос у храма Преподного Сергия, благодатно обвеянный его молитвой и звоном. Мои впечатления детства эстетические, моральные, бытовые связаны с жизнью этого храма *. Под кровом его горело сердце молитвенным восторгом и орошалось похоронными слезами. Примерно до 12—13 лет я был верным сыном Церкви по рождению и воспитанию. Учился в духовной школе, сначала в Духовном училище (четырёхклассном) в родном городе Ливнах, а затем в Орловской Духовной семинарии (3 года). Уже в самом почти начале периода, в первом-втором классе семинарии, наступил религиозный кризис, который — правда, хотя и с болью, но без трагедии — закончился утратой религиозной веры на долгие, долгие годы, и с 14 лет, примерно до 30, блудный сын удалился в страну далеку, к горю и соблазну, вероятно, многих, но прежде всего, конечно, родителей. Мне было *что* терять, а я это отдавал как будто легко, без борьбы (хотя были даже мысли о самоубийстве от безбожия). Начальный толчок, по-видимому, давало ребяческое самолюбие: я был захвален в школе, однако тем чувствительней были для меня его уколы в бурсацкой грубости. Однако это не было серьезно. Гораздо серьезнее были молодые вопрошания и сомнения, на которые некому было ответить. Последние к тому же поддерживались попутными влияниями и встречами, главное же и больше всего той интеллигентщиной, жертвой которой — и лично, и исторически — сделался и я, вместе с бесчисленными братьями своими, вместе со всей Россией. То была общая судьба «гуманистического» человечества, донныне изживаемая, соблазн человекобожия¹. Однако правда моего протеста против окружавшего меня мира состояла в том

* Свою жизнь до 30-летнего возраста я в 1918 г. описал для детей в толстой тетради, в Крыму безвозвратно погибшей в земле во время одной из очередных паник, уже после моей высылки из России (1922—1923).

духе свободолюбия, который отвращался от раболепства, царившего в мире «духовном». (За пределы же его мой опыт тогда еще не простирался.) С ним я не хотел и не мог (и не должен был) примириться, от него я бежал, спасая свое духовное существо, и это свое бегство и посейчас считаю оправданным. К этому присоединилось и то, что вместе с потерей религиозной веры я естественно, как бы автоматически, усвоил господствующие в интеллигенции революционные настроения, без определенной партийности, но с решительной непримиримостью к монархизму, господствовавшему, по крайней мере в нашей, «духовной» среде. Одним словом, со мной повторилось — в этой стадии жизни — то, что было с моими предшественниками по семинарской школе: Чернышевским, Добролюбовым и др. Я стал жертвой мрачного революционного нигилизма (хотя он всегда соединялся с любовью к искусству и литературе, меня спасавшими). К этому надо присоединить и то, что общая атмосфера духовной школы бессильна была противопоставить этому нигилизму достаточное противодействие. Поддерживаемая привычным бытом и принуждением, она становилась все более невыносимой для гордого, самомыслящего, но и искреннего в своем свободолюбии и правдолюбию мальчика.

Семинарское начальство прочило меня тогда в студенты Духовной академии, для меня же единственным путем спасения тогда являлось: бежать из семинарии, не откладывая и без оглядки. Куда? Конечно, в светскую школу — в университет. Зачем? «Приносить пользу», служить человечеству, прогрессу, научной мысли, к которой всегда лежала моя душа. Исполнение этого плана было не легко, оно требовало жертв, и не только от меня самого, но и от моих близких, т. е., прежде всего, от родителей (о чем я меньше всего думал в молодом своем эгоизме). Тем не менее летом 1888 г. я оставил Орловскую семинарию и, после двухлетнего пребывания в Елецкой гимназии, осенью 1890 г. вступил в Московский университет, на юридический факультет. В этом выборе я явился также жертвой интеллигентской стадности, пойдя вопреки собственному влечению. Меня влекла область филологии, философии, литературы, я же попал на чуждый мне юридический факультет в известном смысле для того, чтобы тем спасти отечество от царской тирании, конечно, идейно. А для этого надо было посвятить себя социальным наукам, как каторжник к тачке, привязав себя к политической экономии. К прохождению чрез это чистилище я сам обрек себя и тем искупил свой грех блудного сына. Я вступил в университет с заранее определенным намерением — посвятить

себя мне чуждой науке, и этот план я и исполнил, достигнув оставления при университете на этой кафедре (добрейшим и милейшим профессором А. И. Чупровым², сродным мне по судьбе: это был тоже семинарист, вспомилавший о своем прошлом как о потерянном рае, но ему не суждено было до конца пройти интеллигентскую пустыню). Я хорошо представляю себе все его волнение, которое он испытывал бы, увидев меня в рясе, но он до этого скандала не дожил.

Итак, моя мысль двигалась на путях социального и, разумеется, социалистического мировоззрения. Последовательно и в известной мере как бы автоматически переходил от одного его образа к другому, чтобы, казалось, наконец, закрепиться в марксизме, который шел ко мне, как к корове седло. Научная университетская командировка (1898—1900) повела меня, конечно, прежде всего в Германию, как страну социал-демократии и марксизма. Но здесь-то, наперекор ожиданиям, начались быстрые разочарования, и мое «мировоззрение» стало трещать по всем швам. В результате, когда я вернулся на родину, чтобы занять наконец желанную профессуру «политической экономики», я был в состоянии полной резиньяции, в которой сначала робко и неуверенно, а затем все победнее стал звучать голос религиозной веры. Ее я и начал исповедовать с тех пор в своих сочинениях примерно начиная с 1901—1902 гг., к удивлению и негодованию своих вчерашних единомышленников. Но, в сущности, даже в состоянии духовного одичания в марксизме, я всегда религиозно тосковал, никогда не был равнодушен к вере. Сперва верил в земной рай, но трепетно, иногда со слезами. Потом же, начиная с известного момента, когда я сам себе это позволил и решился исповедовать, я быстро, резко, решительно пошел прямо на родину духовную из страны далекой: вернувшись к вере в «личного» Бога (вместо безличного идола прогресса), я поверил во Христа, Которого в детстве возлюбил и носил в сердце, а затем и в «Православии», меня повлекло в родную церковь властно и неудержимо. Однако прошли еще годы, в которые эта мысль и желание о возвращении в дом Отчий во мне оставались еще бессильны, сокровенным страданием было оплачиваемо мое возвращение. Оно совершалось, конечно, не только в сердце и в жизни, но и в мысли, из социолога я становился богословом (благодарно отмечу духовное влияние Достоевского и Вл. Соловьева в эти годы). Но одновременно в душе поднималось и желание, которое тайно тоже никогда не угасало, полного уже возвращения в отчий дом, с принятием священства. В эти годы я называл себя иногда в беседе с друзь-

ями «изменником алтаря». Мне становилось недостаточно смены «мировоззрения», «левитская» моя кровь говорила все властнее, и душа жаждала священства, рвалась к алтарю*. (Кн. Евг. Н. Трубецкой однажды сказал мне, что по его ощущению я «рожден в епитрахили»³.)

Однако на этом пути стояли разные препятствия. Первое из них — это привычки и предубеждения среды и даже близких. Если там, откуда я ушел, в среде «духовной», принятие сана в известный момент жизни являлось шагом само собою разумеющимся и бесспорным, то в среде интеллигентской, где безбожие столь же естественно подразумевалось, принятие священства, по крайней мере, в состоянии профессора Московского университета, доктора политической экономии и проч., являлось скандалом, сумасшествием или юродством и, во всяком случае, самоисключением из просвещенной среды. На это надо было решиться, и это тоже потребовало времени. На это я также решился заведомо пойти, да, впрочем, и времена уже становились не те. Впрочем, не знаю, как бы я сам справился со всеми личными трудностями, но здесь меня явно поддерживала рука Божия. В начале 1918 г. в Москве было получено известие об обстреле Ялты и вообще южного Крымского побережья, где находилась моя семья, большевиками, и, конечно, произошел перерыв всяких сношений с ней. Были основания опасаться, что вся она погибла. Я оставался один пред лицом Божиим. И тогда я почувствовал, что меня уже ничто не удерживает и нет оснований откладывать то, что я вынашивал в душе по крайней мере десятилетие. Но существовало для меня еще препятствие, силами человеческими также непреодолимое: то была связь православия с самодержавием, приводившая к унижительной и вредоносной зависимости Церкви от государства и своеобразного цезарепапизма. Через это я не мог перешагнуть, не хотел и не должен был. Это препятствие внезапно отпало в 1917 г. с революцией: Церковь оказалась свободна, из государственной она стала гонимой. На Всероссийском соборе⁵ (которого я был членом) Церковь, в лице Патриарха Тихона⁶, получила достойного и неустрашимого главу. Собор же явился каноническим органом церковного управления. Вместе с Церковью и я получил для себя свободу действий Поэтому я также не должен был те-

* «Und Bulgakoff ist fromrn geworden»⁴ передавали мне изумленное восклицание Karl Kautsky, одного из вождей германской социал-демократии (это можно по смыслу передать так: «Булгаков обидиотел!»).

рять времени, чтобы им воспользоваться пред лицом грозных грядущих событий. Решение мною было принято, и нельзя было его откладывать. К тому же я получил от кн. Евг. Н. Трубецкого однажды поздним вечером дружеское извещение по телефону, в котором он меня на латинском (!) языке предупредил, что я этой ночью буду арестован. Но когда я после этого лег спать, то почувствовал себя больным, поднялась температура с болями. Утром доктор определил припадок аппендицита, хотя и не настаивал на немедленной операции. Из своей квартиры мне надо было скрываться (хотя предупреждение Е. Н. и не исполнилось). Кое-как оправившись от припадка, я начал действовать: сначала обратился к Преосвященному Феодору Волоколамскому, одному из московских викариев, лично меня знавшему (и рукоположившему моего друга профессора о. Павла Флоренского), с вопросом, согласится ли он меня рукоположить в иереи. После его согласия я объяснил ему всю срочность этого дела ввиду моей угрожаемости (поэтому он от первоначального своего предложения провести некоторое время во диаконстве, узнав мое положение, и сам отказался). После этого я уже обратился к самому Патриарху Тихону с прошением о рукоположении, на что Святейший милостиво и без всяких возражений и согласился. (Он сказал мне, смеясь, что «Вы в сюртуке нам нужнее, чем в рясе».) Я и не подумал, что Патриарх мог иметь желание сам совершить мое рукоположение, когда просил его поручить это Преосвященному Феодору. При этом я хотел избежать шума, ввиду моего положения. В смирении и доброте своей Патриарх не возразил против этого, тем более что времени терять не приходилось, а между тем в ближайшее воскресенье (Троицын день)⁷ Патриарх должен был отъехать в Петербург и, следовательно, отсутствовать из Москвы. Условились, что это решение до последнего момента останется в тайне, хотя оно, конечно, просочилось и на Соборе, да и сам Патриарх в Петербурге в самый Троицын день говорил в своих кругах, что сегодня их ждет радость, таково было его любящее и благословляющее слово*. Итак, наконец, было решено: в Троицын день имело состояться мое рукоположение в диаконы (в Даниловом монастыре, где пребывал Преосвященный Феодор), а в день Св. Духа в храме кладбища Св. Духа во иереи. Разумеется,

* Незадолго до этого, в рождественские праздники. Святейший Патриарх меня понудил (еще мирянина) составить текст первого его послания, возвещающего об его вступлении на Патриарший Престол, что я и исполнил (читано было в храмах на Крещение).

я не дерзнул бы сам избирать такие сроки для своего рукоположения, они оказались предуказанными свыше, и посему я всегда переживаю эти великие и священные дни как светлое знамение милости Божией*.

Итак, решено. Но от Светлого Праздника отделяла меня еще Страстная седмица, дни духовного приготовления. Еще никто не знал о моем решении, и я сам изведал о том лишь своих ближайших друзей. То было как бы радостное прощание с ними пред моим браком духовным, а вместе и некое торжественное свидание — перед смертью. Я храню в сердце священные воспоминания об этих встречах: здесь были и слезы радости, и волнения, и слова любви и дружеского напутствия**. Дома же я был один с мальчиком-сыном, который явился для меня огромной и радостной поддержкой в эти дни (нас разделило мое

* При этом упомяну и о такой смешной и характерной подробности всего этого события. Когда я в субботу (канун дня Троицы, назначенного для моего рукоположения) пришел в Московскую консисторию⁸ выправлять свое ставленническое дело, в нем оказалось отсутствующим письменное удостоверение относительно моей жены, что она православного исповедания и венчана со мной первым браком. Хотя я, будучи не только членом церковного Собора, но и избранного им Высшего Церковного Совета, об этом заверял секретаря консистории, этого оказалось недостаточно, необходима была соответственная бумага. Когда же он обратился за этим в канцелярию Свящ<енного> Собора, то оказалось, что оттуда ее нельзя было получить. Каково же было мое волнение, когда я понял, что все для меня висит в воздухе из-за этого канцелярского формализма, ничто здесь не может помочь и даже некуда обратиться, потому что сам Патриарх, если только и он мог здесь справиться с неумолимостью канцелярий, был уже в отъезде (в Петербург). А между тем день склонялся уже ко второй половине, все было условлено и решено (даже вплоть до газетных заметок о предстоящем рукоположении, которые намеренно были отложены до утра самого Троицына дня). И вот в последнюю минуту меня осенила спасительная мысль обратиться к секретарю канцелярии Московского коммерческого института⁹, где я был профессором, за выдачей такого удостоверения. Отправил спешного гонца, и беспрепятственно выданное свидетельство удовлетворило консисторию, и, тем самым, моя карма¹⁰ политической экономии открыла мне врата Данилова монастыря. Я испытал чувство совершившегося надо мной чуда милости Божией.

** Много дружеской заботы и ласки было проявлено к тому, чтобы меня одеть в «духовное», тогда это по-своему было не менее трудно, как и теперь. Бог помог мне с тех дней всегда сохранять «духовный» облик, хотя были времена, когда от меня требовали ему измены под угрозой опасности смертной.

изгнание и не знаю, увижу ли его в этой жизни). Страстная седмица перед рукоположением состояла для меня в *умирании* для этой жизни, которое началось для меня с принятием моего решения. Не знаю даже как, но в моем сознании отпечатлелось ясное понимание, с каждым днем все возраставшее и крепнувшее, что это умирание есть вольное, но и неизбежное, от которого нельзя уйти, но этого ухода и не должно желать. Это была как бы длительная агония, каждый день приносил новые переживания, и то были муки, которых невозможно описать. Но не было ни одного мгновения, когда мелькнула хотя бы мысль об отступлении; однако при этом я шел, имея перед собой как будто какую-то каменную стену, упираясь в тупик. Могу сравнить это только с некоторыми состояниями умирания во время моей последней болезни, хотя, конечно, тогда они не сопровождались физическим страданием (если не считать обычной для меня бессонницы). Это умирание явилось для меня тогда совершенно необходимым и важным, каким-то духовным заданием, которого я не могу миновать, как некоей духовной очевидности. Оно для меня неожиданно и непроизвольно возникло и как-то тлело и, тлея, жгло меня. Эта мука духовного рождения была великая милость Божия. Дорого бы я дал, чтобы теперь увидеть эти мои, конечно, погибшие записи...

Но миновав и эти дни умирания, 9 июня, в канун Троицына дня, я отправился в Данилов монастырь, неся в собой узел с духовным платьем (обратно в нем же принес я уже свою сюртучную пару), к Преосвященному Феодору, там я и ночевал. Москвичи знают этот монастырь с кладбищем, в котором покоится прах Хомякова, Гоголя и др. В день Св. Троицы я был рукоположен во диакона. Если можно выражать невыразимое, то я скажу, что это первое диаконское посвящение пережито мною было как самое огненное. Самым в нем потрясающим было, конечно, первое прохождение чрез царские врата и приближение к св. престолу. Это было как прохождение чрез огонь, опаляющее, просветляющее и перерождающее. То было вступление в иной мир, в небесное царство. Это явилось для меня началом нового состояния моего бытия, в котором с тех пор и донныне пребываю... Когда я шел домой по большевистской Москве в рясе, вероятно с явной непривычностью нового одеяния, я не услышал к себе ни одного грубого слова и не встретил грубого взгляда. Только одна девочка в Замоскворечье приветливо мне сказала: здравствуйте, батюшка! И буквально то же самое повторилось и на следующий день, когда я возвращался уже священником. Тогда же моя кухарка, чудная Аннушка, которая

вообще все время относилась к происходящему с молчаливым сочувствием, ко мне подошла за благословением уже со словами: благословите, батюшка, и первая тогда его получила (вслед же за нею и швейцар нашего дома).

В день Св. Духа¹¹ епископ Феодор имел служить в кладбищенском храме Св. Духа, и туда шли мы из Данилова монастыря крестным ходом, я шел в стихаре с дьяконской свечой рядом с епископом. То было не малое расстояние, но прошли его спокойно и беспрепятственно. К рукоположению пришли в храм и друзья мои, бывшие тогда в Москве. Вспоминаю прежде всего о. Павла Флоренского (со своим Васей), участвовавшего и в литургии, М. А. Новоселова, Н. Н. Прейса (†), Вяч. Ив. Иванова, Н. А. Бердяева, П. Б. Струве (?), кн. Е. Н. Трубецкого, гр. А. Рачинского, В. К. Хорошко, А. С. Глинку (Волжского), М. О. Гершензона, Л. И. Шестова, Е. А. Аскольдову и др.¹² Все они после службы участвовали в дружеском чаепитии, духовенством храма для нас радушно устроенном (тогда это было нелегко, как и теперь). Переживания этого рукоположения, конечно, еще более неопишуты, чем диаконского — «Удобнее молчание». Епископ Феодор сказал мне в алтаре слово, которое тогда меня потрясло, хотя сейчас я не могу восстановить его содержания. Была общая радость, и сам я испытывал какое-то спокойное ликование, чувство вечности. Умирание миновало, как проходит скорбь страстных дней в свете пасхальном. То, что я переживал тогда, и была та пасхальная радость.

Первые свои литургии я совершал в Богородичном храме Всех Скорбящих Радости, в детском приюте на Зубовском бульваре, где и жил, вместе и под руководством о. Павла Флоренского, который для этого и оставался несколько дней в Москве и после моего посвящения. Приписан же я был к храму Ильи Обыденного в Обыденном переулке, близ Храма Спасителя, где также успел совершить несколько литургий до своего отъезда из Москвы.

Однако надлежало мне в новом образе встретиться с семьей, о которой я тогда уже получил вести. Поэтому чрез две недели после рукоположения, с благословения Патриарха, я выехал в Крым для свидания с семьей на месячный срок, по истечении которого предполагал вернуться к месту своего прежнего, профессорского, и нового, иерейского, служения. Однако мне вовсе не суждено было вернуться в Москву. Мне пришлось первый раз переехать под Курском границу немецкой оккупации, без паспорта, но благополучно ее миновав. Встретил благополучно своих и пробыл законный месяц с ними. Затем я сделал попытку

ку возвращаться в Москву чрез Киев. Но отсюда в течение целого месяца мне это не удалось: обстоятельства изменились. Так я и принужден был возвратиться в Крым и там остался до начала 1923 г., когда оттуда был выслан за границу навсегда. Из числа же профессоров университета я был исключен за принятие священства дважды: из Московского — немедленно по рукоположении, из Симферопольского — по занятии его большевиками.

Слава Богу за все.

11/24—12/25.5.1942

